



№ 24

Е. и Л. ФЛОРЕНТЬЕВЫ СТО ГОЛЛАНДСКИХ ТЮЛЬПАНОВ





Дружеский шарж В. МОЧАЛОВА.

Почему-то у нас никогда не спрашивают: «А как это вы пишете вместе?» Мы бы ответили:

— А так и пишем. Один сочинит, целый день ходит радостный, а другой потом прочтает, улыбнется так, будто съел горький огурец, и скажет: «Что-то у тебя ерунда вышла». Сядет, все заново переписет и веселым голосом возвестит: «А вот теперь хорошо, правда. Чего ты дуешься? У тебя много вранья было».

Но случаются у нас и очень хорошие минуты: устроимся удобно в креслах, мирно поговорим по душам, обсудим творческие планы. Потом три дня не разговариваем.

А иногда крадем друг у друга сюжеты.

Е и М. Прохоренко



**БИБЛИОТЕКА
КРОКОДИЛА**

№ 24

(1084)

ИЗДАЕТСЯ С 1945 ГОДА

**Елена ФЛОРЕНТЬЕВА,
Леонид ФЛОРЕНТЬЕВ**

СТО ГОЛЛАНДСКИХ ТЮЛЬПАНОВ

Рисунки И. СМЕРНОВА

**МОСКВА
ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ПРАВДА»
1989**



ИЗ ПОХОЖДЕНИЙ КУТЯКИНА, ЭСКВАЙРА

В ящике письменного стола он нашел записку: «Не знаю, что вы о себе думаете. Может, думаете, что вы красивый, и вам от этого делается приятно. А на самом деле вы настоящее хамло. Ходите вечно в замше. И в столовой морды корчите над тарелкой. Привет, Палтус! Плавай пока».

Кутякин порвал записку и вышел в коридор покурить. Сначала он подумал, что записку написала женщина, поскольку в начале упомянута была его красота. Потом ему пришло в голову, что автором мог быть и мужчина, ибо в конце содержалась угроза. Третья и последняя мысль не перечеркивала, но дополняла две первые: «Кретины!»

В шесть ноль пять он вышел из министерства и прошептал к близлежащему гастроному, памятуя о наказе жены: купить швейцарского сыру.

Он честно выстоял очередь в кассу, однако ему почудилось, что кассирша смотрит на него с плохо скрываемым отвращением.

— Вот ваши деньги, можете взять все, — сказала она и сунула тугой комок грязных рублевых бумажек в потную кутякинскую ладонь.

Он открыл было рот для протеста, но тут кто-то поддал ему коленом под зад, и он отлетел прямо к прилавку с сырами. Продавщица злобно вырвала чек из его руки.

— Триста швейцарского, — пискнул Кутякин.

— Ничего, хватит тебе и двухсот, Палтус. Нарезать или куском? — продавщица с шумом рассекла воздух огромным ножом и примерилась к головке сыра.

— Наре... куском,— вымолвил Кутякин, опасаясь впасть в немилость.

Синей молнией сверкнула сталь; косо отрубленный кусок сыра сам собою оказался в руках Кутякина, продавщица же, залихватски гикнув, вскочила верхом на бидон из-под сметаны и унеслась в сторону колбасного отдела.

Порыв ветра, напоенного полынью и дягилем, принес ее прощальные слова:

— Не забывай меня, Кутякин!

Тут же его подхватила толпа угрюмых мешочников, и на чьих-то крепких плечах он благополучно выехал на улицу. Проходившая мимо пионерка в белом фартуке сделала Кутякину козу.

— Какой вы, дядя,— сказала она кокетливо, достала из карманчика милицейский свисток, раздула щеки, как хомяк, и свистнула.

— Домой, домой,— заторопился Кутякин. Он сделал несколько шагов, но путь ему преградили два молодца в длинных кожаных пальто.

— Куда?— коротко спросил первый и взял Кутякина за левую руку, в которой был сыр.

— Домой,— прошептал Кутякин, вяло пытаясь выдернуть правую руку из железной хватки второго.

— Никак нет, Палтус. Пойдешь с нами.

Кутякин задержался в поисках аргументов.

— Сыр... Сыр тут...

Первый резким отработанным движением тут же выбил сыр из руки Кутякина. Второй наподдал сыр ногой так сильно, что сверток по крутой траектории ушел в вечеряющее небо.

— В Эфиопии голод,— пояснил он Кутякину.

Парни приволокли Кутякина в какой-то незнакомый, страшный двор-колодец и привязали его к детскому деревянному грибку. Кутякин заплакал. Слезы крупными горошинами падали на замшевый его пиджак.

Первый парень достал из кармана платок с монограммой, вытер Кутякину лицо, потом зажал нос и велел сморкаться.

— Пфу! — дунул носом Кутякин.

— Сильнее! — потребовал парень, продолжая сжимать кутякинский нос.

— Пфу! Пфу! — постарался Кутякин.

— Ну, вот и ладненько,— сказал парень. — Собственно, мы тебя сюда пригласили, чтобы спросить: ты выпить хочешь?

— У меня только три рубля,— простонал Кутякин, делая попытку выдернуть грибок из земли.

— Эй, Гунявый! — обратился первый парень ко второму. — Дай ему в ухо, будь другом.

Гунявый несильно размахнулся и перчаткой хлестнул Кутякина по щеке:

— Тебя не спрашивают, сколько у тебя денег.

— Повторяю, ты выпить хочешь? — снова пристал первый.

Кутякин гордо молчал.

Парни некоторое время шушукались. Потом Гунявый остался сторожить Кутякина, а первый рысцей бросился со двора. Буквально через пять минут он вернулся с пузатым баулом, открыл его и ловко, умело сервировал скамейку рядом с грибом. Свет вечерней звезды заиграл на гранях хрустальных бокалов.

— Развяжи дурака, Гунявый. Выпьем за твои успехи, Кутякин. Пусть земля будет тебе пухом.

Измученный Кутякин поднес к губам бокал. Сделав первый глоток, он идентифицировал «Курвуазье», второй глоток не оставлял сомнений в том, что в бокале — «Стрелецкая», остаток же определенно смахивал на джин.

— Ешь, Палтус. Хочешь, я тебе хлеб икрой намажу? — спросил первый парень с заботой в голосе.

Когда бутылка опустела, Гунявый хлопнул в ладоши.

— А теперь — к бабам.

Развеселившийся Кутякин стал качать головой, как китайский болванчик.

— Жена меня сгноит, — предположил он, глупо улыбаясь.

— Эта добрая женщина? Никогда в такое не поверим! — воскликнули парни хором.

— Брось ты, чудик! Гуляй, пока молод! Ты ведь молод? — уточнил первый.

— Он стар, как Мафусаил, — усомнился Гунявый.

— Мне сорок восемь, — с достоинством определил Кутякин.

— Юниор! — восхитился первый. — Самый бедовый возраст. — Он аккуратно засунул оставшийся кусок копченого угря во внутренний карман пиджака.

У Кутякина слегка шумело в голове, перед глазами мелькали беленькие мушки.

— Это что, снег пошел? Зима уже? — доверчиво спросил он у Гунявого.

— Снег, снег, — засмеялся тот. — Вот сейчас засунем тебя башкой в сугроб, Палтус.

В глубине двора появилась уже знакомая Кутякину пионерка. На этот раз на ней была норковая шубка.

— Дяди, можно, я покушаю? — спросила она, указывая на недоеденную икру в стеклянной баночке. Выбив о скамейку пепел из коротенькой трубки-носогрейки, девочка достала из кармана шубки детский пластмассовый молоток и еловую шишку.

— Зачем эти вещи? — сухо спросил первый парень.

— Шишку я подарю этому милому дяде, — сказала пионерка, бросая шишку в Кутякина. — А молотком буду стучать по папе-милиционеру, когда он придет сюда и позарится на чужую икру.

Парни посмотрели на пионерку с уважением и, схватив Кутякина под руки, потащили его на площадь к стоянке такси.

— Мы без очереди! — злобно заорали парни на безмолвных обитателей стоянки. — Пропустите ветерана космических мостов! Нам в Склифосовский! Он укушенный!

— Кто укушенный? — отшатнулась старуха, стоявшая в голове очереди. — Кем укушенный-то?

— Вот он, — указали парни на Кутякина. — Укушенный ежом.

В этот момент подрулило такси, и парни толкнули Кутякина в теплое, уютное нутро автомобиля.

— Если среди вас есть шатены, — заметил таксист, приглядываясь к пассажирам, — я прошу их немедленно покинуть машину. Я — полковник в отставке и шатенов не потерплю.

Кутякин на всякий случай стал тереть лысину ладонью. Но новые друзья заступились.

— Смотрите, — сказали они. — Как полковник в отставке, вы не можете не оценить неземную красоту этого человека.

Шофер посмотрел на Кутякина в зеркальце заднего вида:

— Теперь я это заметил. И повезу его хоть на край света.

— Отлично, — сказал Гунявый. — Тогда везите нас к бабам.

Машина резко взяла с места, рванулась неудержимо, и Кутякину померещилось, что колеса отрываются от земли, огни города уплывают вниз и сливаются в радужные бензиновые пятна.

— А что это у вас в «бардачке» скребется? — спросил у таксиста первый парень. — Не мышь ли проказница, не лягушка ли отказница?

— Там находится мой друг, агент ЦРУ. Прячется и подслушивает разговоры пассажиров в целях узнавания государственных тайн.

Кутякин доложил:

— Я работаю в министерстве. Виды на урожай... Закупочные цены на пшеницу... Ничего не скажу! Пусть он сдохнет, вражеская рожа, борец невидимого фронта! Откройте «бардачок», полковник: я плюну ему в белые глаза!

Парни навалились на Кутякина, стали успокоительно похлопывать его по плечам.

— Плюнуть можно, — примирительно сказал Гунявый. — Отчего не плюнуть? Да только стоит ли? Он сам там долго не протянет, поди, уж задохся, шебуршится с голодухи, к бабе хочет.

— Да, — задумался Кутякин. — К бабе кто не хочет?

Качнувшись в сторону первого парня, он подозрительно спросил:

— Граждане, а вы не из гномов будете?

Такси внезапно остановилось, первый парень расплатился с полковником куском угря, полковник засунул выручку в «бардачок».

Друзья оказались у подъезда высокого дома из желтого кирпича. На газоне росли голубые елочки. Меж ними, нахохлившись, ходил человек в сером плаще и серой же велюровой шляпе.

Кутякин испытал прилив эйфории, дернулся было в сторону газона:
— Пусть и он станет нам как друг! Возьмем его в поход за радостями тела!

— Гунявый! — сказал лениво первый парень. — Дай-ка ему еще раз в ухо.

Гунявый снова хлестнул Кутякина перчаткой:

— Этот мужик не джентльмен. Этому место под елкой, а не в приличном обществе.

К подъезду бесшумно подкатил огромный черный автомобиль. Из него вылез тучный мужчина в каракулевом пирожке и тяжелом ратиновом пальто.

— Ну, хоть этого позовите! — взмолился Кутякин.

Гунявый достал из бумажника большую лупу и стал рассматривать тучного. Потом лупу убрал, а бумажник спрятал.

— Этого вообще ни в какое общество нельзя. Он не джентльмен и даже не мужик.

Друзья вошли в подъезд, поднялись на лифте на какой-то высокий этаж и позвонили в дверь, обитую ярко-красной кожей. Им открыл маленький сухой старичок в домашней куртке со шнурами. Пожевав тонкими запавшими губами и ничего не сказав, старик повернулся и двинулся в глубь квартиры, шаркая ногами в разношенных тапочках. Из комнаты в прихожую бросилась молодая девица с распущенными волосами:

— Серж! Как мило, что ты пришел! — Она расцеловалась с Гунявым, припала на минуту к его груди. — А это кто с тобой? — Она с любопытством оглядела Кутякина.

— Это друг наш хороший — известный жокей, без пяти минут замминистра, — объяснил Гунявый.

Кутякин шаркнул ногой и вручил хозяйке шишку.

Вошли в комнату... Она показала Кутякину необъятной. В креслах чуть поодаль расположились две девицы в свободно ниспадающих одеждах. Давешний старичок, сидя у экрана персонального компьютера, увлеченно играл в какую-то мудреную игру. Перед камином в задумчивой позе сидел милиционер с перевязанной головой и смиренно ел гречневую кашу. У ног его грыз искусственную кость черный дог с необрезанным хвостом. А дальний конец комнаты терялся в сумерках, и что происходило там, Кутякин боялся даже вообразить.

...Кто-то смешивал коктейли, кто-то сидел у Кутякина на коленях и развязывал ему галстук. На потолке, сделанном из цельного куска зеркала, Кутякин видел то старуху в кринолине, стиравшую белье, то собственную распухшую физиономию, то старика со шнурами, танцующего брейк, то белое бесформенное тело...

В третьем часу ночи он брел домой пешком, потирая укушенный ежом бок.

Жена не ложилась спать, поджидая его у двери.

— Сволочь ты, Кутякин, — сказала она, глотая слезы и сморкаясь в полотенце. — Посинеешь от своего пива и сдохнешь, а обо мне так ни разу и не подумаешь. Сволочь ты.

Кутякин сделал хитрое лицо, явно примериваясь упасть на коврик у входной двери.

— Каждый джентльмен, — пояснил он, — имеет право.

И погрозил жене пальцем.

ЗАЧЕМ ПРИШЕЛ?

В квартире было множество столов.

— У вас настоящая коллекция, — сказал он, оглядывая комнату.

— Скопились за жизнь, — проворчала старуха и мазнула ладонью по ближайшему столику, оставив след на пыльной поверхности. — Полотер умер, — добавила она. — Ты зачем пришел?

— А просто...

До чего же темная комната. Это распустился тополь. Кроме листьев тополя, из окна до осени ничего не разглядеть.

Старуха вперевалочку двигалась по комнате. Три шага влево, три шага вправо. Если убрать лишние столики, станет просторнее. Может, она его не узнала?

— Софья Ивановна, вы меня помните?

Старуха улыбнулась. Протезист, видно, погнался за длинным рублем: вставил ей вместо тридцати двух зубов все пятьдесят

— Вы, молодые, просто так не ходите. Я-то знаю. И ты мне не родня, чужой.

Он кивнул. Три шага влево, три шага вправо.

— Я не люблю посторонних. От них морока одна. Может и неприятность выйти. А у меня дела. Вот надумала тряпки кипятить. Не люблю, когда тряпки грязные.

— Софья Ивановна, я скоро уйду. Ну, хоть чашку чаю. — Он полез в сумку, вытащил пакетик зефира. — Вот, зашел в булочную, а там зефир. Продавщица говорит: «Мужчина, берите больше. Бывает раз в столет». Я и взял...

— Что ж, раз взял... Ладно. — Старуха вздохнула — Только пойдем со мной на кухню. В комнате одного не оставляю. Руки вымой. Знаешь, где.

Тусклая лампочка. Зеркало с черными трещинками. Маленький розовый обмылок норовит выпрыгнуть из ладоней.

— Как вы живете, Софья Ивановна? — спросил бодрым голосом, входя на кухню.

— Да какая жизнь в мои годы. Известное дело, — старуха пожалала плечами. — Скриплю помаленьку. А полотер умер.

— Он знакомый ваш был?

— Какой знакомый.— Она затрясла головой.— И никакой не знакомый, а сосед. Жил сверху. Когда ходил — шаги были слышны. А то покрикивал на пса. А мне все веселей было.

— А где ж теперь пес?

— А кто его знает. Пса не слышать. Может, родня забрала. Да что пес... А он-то вежливый был мужчина, веселый. Говорили, мастикой по-
травился. Раньше-то, бывало, воском натирали паркет. Блеск и чистота, а теперь навдумывали... Вот и все новости. В нашем-то возрасте без новостей лучше. Пока на своих ногах хожу, а на паску слегла — думала, не встану. Сестра ходила ко мне, такая вертлявая, нахальная девка. Шприц не кипятит. Я ей говорю: должна кипятить, а то заразишь этим. Как его?

— СПИДом, что ли?

— Во-во, СПИДом. А потом выселят, знамо дело. Теперь и болеть страшно. Врачей боюсь. Убьют и глазом не моргнут. Не помню я ничего. Кроме жизни. Ну, а ты зачем пришел?

— Навестить. Я думал, вам будет приятно.— Он снял с плиты чайник и стал наливать кипяток в чашки, звякая браслетом. Старуха следила взглядом за его руками.

— Но ты мне не родня. Родни нет. И кость у тебя тонкая, а наши все ширококостные были. Мужики все в семье кряжистые, крепкие. Да мужики-то потом перевелись, а родилась Алка. А здорова выросла, не дай бог. В нашу, соловьевскую породу. А ты — не родня...

— Все люди как-то связаны между собой. Вот и мы раньше были родственниками.

— Да уж кто виноват? Никто не виноват,— заключила старуха.— А где Алка? Неудачная вышла внучка. Она теперь замужем?

— После развода не встречались. Разве она к вам не заходила?

— Неудачная получилась девка. Не заходила, нет. Зачем ей? — Старуха уронила ложку.

— А может, вам что-нибудь нужно? — спросил парень.— Я могу починить или достать.

— И ламинарию можешь? — оживилась старуха.— Моя ламинария кончилась.

— Это что такое, морская капуста, что ли?

— Да, ламинария.

— А еще? Капусту я куплю.

— А что ж еще?

— Хотите, принесу что-нибудь интересное почитать? Или продукты принесу?

— Нет, не нужно ничего, не нужно. Что я теперь ем? Я теперь уж и не хочу. А тебе? Может, тебе денег нужно? Я могу немного... в долг.— Старуха посмотрела в пространство, пошевелила губами.— Много у меня нет. Я отложила... Сам понимаешь, чтобы хоть про-



водили по-человечески. По телевизору слыхала, теперь одиноких и хоронить не хотят. Бросят в больнице... А рублей пятьдесят я бы могла...

— Да зачем же вы так, Софья Ивановна? Не нужно думать даже о таких вещах. Думайте о жизни. Знаете, был такой врач, Поль Брэгг, он умер в девяносто шесть лет, и то погиб во время шторма, когда катался на доске по морю. А долгожителей сколько... Думайте о них. Человек должен жить долго. И радоваться каждому дню. А мне ничего не нужно. Я просто так пришел. Взял и пришел.

— Соскучился, видать, — усмехнулась старуха. — Вы, молодые, просто так не ходите. Вот и сестра эта, балаболка, мне говорит: «Отдайте мне страусиное перо, вы уже старая». А я не дала! Для Алки берегла раньше. Ты ее видишь?

— Софья Ивановна, а из друзей ваших кто-нибудь живет поблизости?

— Может, и живет кто. — Старуха посмотрела куда-то сквозь стену. — Только я думаю, померли все. Раньше-то открытки слали, а теперь молчок. Иногда сяду на досуге, вспомню прежнюю жизнь... Когда и поплачу. Жизнь я хорошо помню, а по мелочам все забываю. Называется склероз. Жаль, семьи нет. Я бы жила в семье, где маленькие детки. Кого побаюкать, кого пожалеть... Я бы могла еще. Жаль, Алка не получилась. А может, ты придешь еще... Я и буду знать, что есть родственник. Чужих-то я не люблю, морока от них...

Потом она проводила его до дверей.

— До свидания, Софья Ивановна, — сказал парень. — Вот найду ламинарию и зайду.

Старуха кивнула. Она стояла, придерживая дверь высохшей рукой, и не захлопнула ее, пока не закрылись дверцы лифта.

БЕЗ ЛИРИКИ

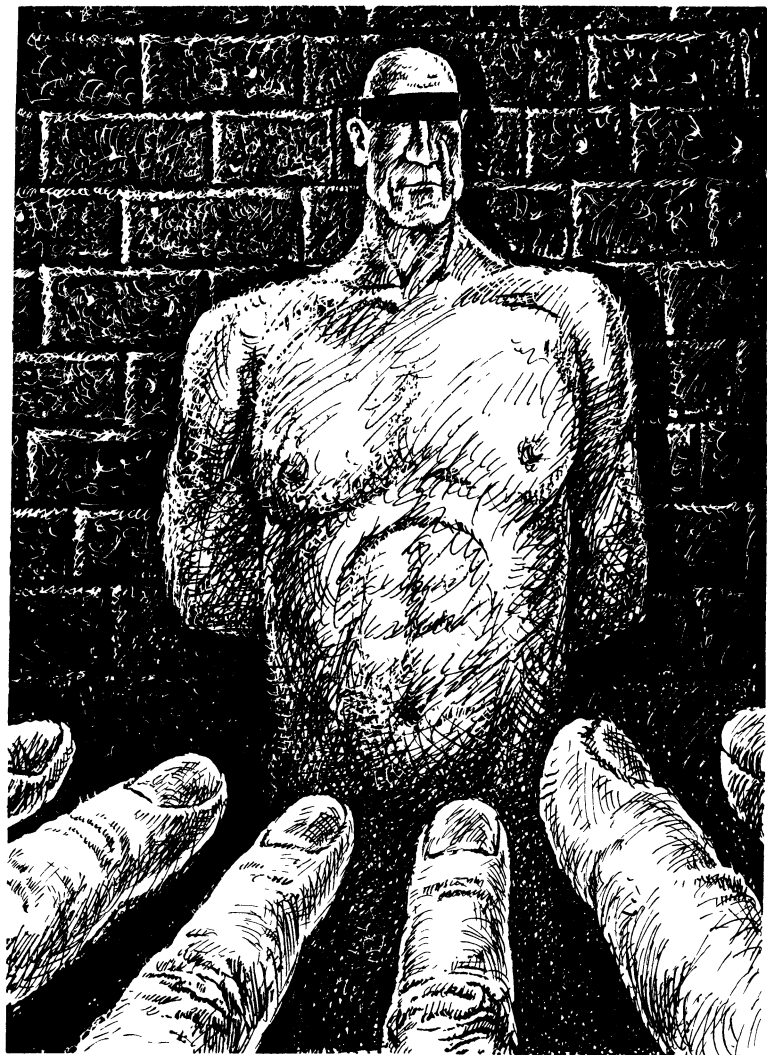
— Так как все это было? Расскажите во всех подробностях. Время я зафиксировал: 18 часов, так?

— Да.. В троллейбус набилось слишком много народу. Меня вынесло с задней площадки куда-то в середину салона. Водитель тонко крикнул, не держите, мол, двери, а то не поеду, следующая остановка — Парижский вокзал.

— Нет такого вокзала, гражданин. Рижский вокзал — остановка.

— Он сказал, Парижский. Тут троллейбус тихонько тронулся, и я вдруг почувствовал, что нас всех пронизал какой-то жуткий ток взаимной ненависти. Я скосил глаза и увидел дико перекошенное лицо соседа слева. Он так стиснул металлический поручень, что у него побелели пальцы.

- Это все лирика. Вы о фактах говорите.
- Я догадался, что нельзя просить его передать деньги, пятьдесят копеек, чтобы купить у водителя талоны. Я просто не мог себя заставить произнести требуемую фразу.
- Не понял.
- На его месте я не стал бы передавать деньги. Чужие деньги.
- Не бывает так, гражданин. Я сам каждый день в общественном транспорте езжу, своего транспортного средства нет. Всегда деньги берут, я видел. Только протяни.
- А на этот раз было так, как я рассказываю. Между тем, я никогда в жизни не ездил зайцем, и внутренний голос мне твердил: купи талоны, купи талоны:
- Я не могу писать про внутренний голос.
- Я глянул направо и увидел женщину.
- Гражданку Панасюк?
- Эту самую гражданку. Мне показалось, что с ней можно установить контакт. В отличие от всех остальных, ее лицо выражало даже некоторое удовольствие. Или безмятежность. Приглядевшись, насколько позволяли условия, я обнаружил, что она, бросив сумки на пол, поджала ноги и висит, отдыхая, между телами пассажиров.
- Гражданка Панасюк отдыхала в результате сдавливания телами, я правильно понял? Так и запишу.
- Я сказал: «Товарищ, передайте деньги». Она вздрогнула и уставилась на меня непонимающе. Очумело, в общем. Потом говорит: «Куда передать?» Я говорю: «Водителю в кабинку».
- Вы именно эти слова произнесли? Я запишу.
- И вот тут она — раз! И укусила меня за ухо.
- Так. Какое ухо? Конкретно.
- Конкретно — правое. О, как больно она меня укусила за правое ухо! В ушах, товарищ, много нервных окончаний. По форме своей уши напоминают эмбрион, это научный факт.
- Не отвлекайтесь. Значит, так. Сопроводила ли гражданка Панасюк свой укус какими-нибудь словами? Нецензурной бранью?
- Нет, она некоторое время молча и злобно смотрела. Потом выкрикнула: «Приобретайте билеты для проезда в троллейбусе в киосках Союзпечати!»
- Союзпечати... Так, зафиксировал. Где вам оказали первую помощь?
- Мне залили ухо зеленкой в аптеке.
- Гражданка Панасюк! Признаете вы факт укуса? С какой целью вы его произвели? Были вы знакомы с пострадавшим прежде, не состояли ли с ним в связи?
- Так я ж была в опупелом состоянии!
- В опупелом — это как? Отвечайте по существу, без лирики.
- А разозлилась я. Чего он полез?



- Эх, Панасюк, Панасюк, пострадавший вас товарищем назвал. Куда это годится, если товарищам уши откусывать начнут?
- Да врет он, что он мне этот, ну... Никакой он мне не этот...
- Не товарищ? Это почему еще? Интересно, он не товарищ. А я?
- У... Запутали совсем! Раз у меня образования не хватает, так можно издеваться, да?
- Вы это прекратите, Панасюк. Москва слезам не верит. Вот товарищ укушенный не плачет, сидит себе. В последний раз вас спрашиваю, почему нанесли потерпевшему телесное повреждение? Может, тяжкое: ухо — важный орган на голове укушенного.
- Жизнь у меня не сложилась. Так и запишите в протокол. Устала я. Муж у меня в ЛТП на принудлении.
- Без лирики попрошу! Потерпевший, а вы что хотите сказать?
- Отпустите товарища Панасюк. Я забираю свое заявление обратно.
- Ну, это вы зря. Вы ее жалеете, а она вас не пожалеет. В следующий раз, глядите, еще чего-нибудь откусит.
- Да нет, я ей верю. Я знаю, я ведь тоже мог кого-то... Вы меня простите, товарищ Панасюк.
- Эх... мужчина, это вы меня извините. Хороший вы, оказывается, мужчина.
- У меня ведь тоже не сложилось... Совсем не сложилось. А у вас, товарищ лейтенант?
- Да чего уж там! Жизнь не сахарная.
- Ну вот, видите... Тут бы посочувствовать друг другу, не хватает этого в наши-то дни... Вот и кусаемся.
- Я раз по телефону доверия звонила, так там занято... И в троллейбусе все места заняты... Да что троллейбус.... Мужчина, что бы вам приятное такое сделать, а, мужчина? Хочешь, на ухо подую?
- Вы... Вот вы назовите меня товарищем, а? Скажите просто: товарищ Потапов, живите, мол, долго...
- Та... Ту... Ты... Эх! Мужчина, хочешь, я тебя поцелую?

ДЕТСКИЙ ВОПРОС

Николай Кузьмич получил от жены пощечину, и очень болезненную; махнув ручкой, Галина Петровна угодила ему в нос.

— У тебя рука, как окорок, — отомстил грубой женщине уязвленный Николай Кузьмич и поспешил в ванную держать нос под струей холодной воды.

— Иди-иди отсюда, дистрофик, — выкрикнула вслед распоясавшаяся жена и, посадив на колени пятилетнего толстого Феликса, принялась заталкивать ему в рот геркулесовую кашу.

Собственно, семейная сцена, завершившаяся жестоким надругательством над мужским достоинством Николая Кузьмица, и произошла по вине любознательного сына, задавшего обыкновенный вопрос, которым дети ныне озадачивают родителей, едва успев освободиться от пеленок. Современная педагогика рекомендует в таком случае не дурить крошке голову и не сочинять всякую ерунду. И уж, конечно, Николаю Кузьмичу, проведенному по настоянию жены не один час за телеэкраном, внимая передаче «Мамина школа», следовало знать, что подобает в доступной для ребенка форме ответить по существу, не вдаваясь, однако, в детали, не заостряя внимания малыша на второстепенных подробностях. Лучше, если сын узнает обо всем от родителей, чем получит жуткую, извращенную и недостоверную информацию в подворотне.

Итак, оторвавшись на мгновение от кубиков, Феликс поднял кудрявую голову и, доверчиво глядя в глаза отцу, спросил:

— А что такое капитализм?

Николай Кузьмич растерялся и брякнул:

— А это просто злой дядя.

Увы, не Песталоцци был папа у мальчика, за что и поплатился носом, разросшимся в ванной до неприличных размеров.

Стараясь придать обезображенному лицу высокомерное выражение, Николай Кузьмич прошептал мимо жены и уселся перед телевизором; выступал мужской дуэт. Чернявый плюгаш с костистым лицом заводил тоненько: «Слышен голос судьбы...», а второй, с пшеничной шевелюрой, кровь с молоком, добродушно гудел: «БАМ!» Потом вместе: «И большая тайга покоряется нам!» Вскоре дуэт сменили трое ученых мужей, которые повели за столом обстоятельный разговор о том, что, дескать, капитализму в скором времени крышка. С этим тезисом все участники дискуссии были, безусловно, согласны, однако вышел спор из-за сроков. Двое говорили, что разложение капитализма усилится в самое ближайшее время. Третий злился и, бешено вращая глазами, то и дело восклицал: «И еще раньше, товарищи!»

Николай Кузьмич с горечью и сожалением вдруг осознал, что ему не по силам было бы вести такую ученую беседу. Нет, термины были ему знакомы. Он знал и «анархию производства», и «ползучую инфляцию», и «аграрный кризис», и «организованную преступность», и «аппетиты военщины». Но он совершенно не умел расставлять эти слова в нужном порядке, чтобы получался правильный, а не какой-нибудь побочный смысл.

— А у папочки нос как хобот,— нарушил тягостное молчание наблюдательный Феликс.

— Кушай, кушай, у папочки головка бо-бо,— сказала Галина Петровна, вкладывая в свои слова особое, зловещее значение.

— Мерзавка,— отметил про себя Николай Кузьмич и попытался сосредоточиться на правительственных кризисах, верхах, которые чего-то не могут, и низах, которые ни в какую не хотят, но, помимо во-



ли, продолжал прислушиваться к разговору жены с сыном, где речь зашла уже об извилинах в отцовской голове.

Мадам Маслова, вооружившись шариковой ручкой, нарисовала на листке плотной бумаги нечто похожее на яйцо. Николай Кузьмич не без содрогания ожидал, что еще поведает сыну любящая мать.

— Вот видишь, нет извилин, поэтому головка не думает совсем. Пустая головка, гладкая.

— А мы папочку полечим, — сказал жалостливо Феликс, — мы его к врачу отведем.

— Отведем, отведем, — мрачно, как эхо в заброшенном колодце, откликнулась Галина Петровна.

Феликс вернулся к кубикам, с которых давно уж отклеились картинки с недостоверными изображениями зверей и птиц, но время от времени задумчиво поглядывал на отца, скукожившегося в кресле.

Поздно вечером, лежа без сна в кровати, Николай Кузьмич раздумывал о женской подлости и злобе. Мадам Маслова доверчиво спала рядом и не почувствовала, как муж резким, решительным движением оттолкнул ее ногу, случайно оказавшуюся на его территории.

— Уйти нужно, — думал он и представлял, как исчезает в чемодане плащ, за ним костюм. Туда же летят джинсы цвета недужного сизаря, унылое детище фабрики «Рабочая одежда». Не забыть помазок! И вот он уже на улице, проносящиеся автомобили безжалостно обдают брызгами, но в кармане — билет на поезд дальнего следования. Из подворотни доносятся тягучие голоса, гитарные аккорды, оттуда выглядывают распухшие морды люмпенов. Николай Кузьмич не боится этих подонков общества и смело идет вперед, задевая кого-то плечом... Что? Ах... фу-ты, черт. Это же сцена из художественного пятисерийного фильма, который шел по второй программе. Про главного героя Галина Петровна сказала так: «Кретин!»

— Ладно, голубушка, я отомщу по-другому.

...На районной профсоюзной конференции он встречает молодую одинокую делегатку. В перерыве, гуляя по фойе близ буфета, она роняет на пол мандат. Николай Кузьмич поднимает его и галантно возвращает владелице. Завязывается разговор; он приглашает ее в ресторан. Да-с, ресторан... Белоснежные скатерти, жульен. У шныряющей по залу назойливой молодки он покупает гигантский букет хризантем. Кофе не надо, слышит он голос обольстительной профсоюзницы, кофе будем пить у меня...

— Да чушь все это! — догадался Николай Кузьмич холодным рассудком. — Ресторан? Хризантемы? На ежедневно выдаваемый рубль?

Он встал и тихо побрел на кухню — пить воду.

На кухне горел свет. За столом, свесив со стула босые ноги, сидел Феликс, грустно хрустя печеньем.

— Там шкаф на черта похож, — сообщил он отцу. — Я спать не могу. Ты его тоже боишься?

— Нет, я нет,— Николай Кузьмич погладил сына по круглой голове.— Давай поговорим,— предложил он неожиданно.

Феликс на минуту задумался.

— Расскажи о мамочкиных мозгах,— попросил он.

— Нет,— поморщился Николай Кузьмич.— Не нужно о мозгах. Ну их, мозги. Давай о капитализме. Я в прошлый раз пошутил, когда сказал, что это злой дядя.

— А,— сказал Феликс.— А какой же, хороший?

— Нет, это такая вещь... Вот ты хорошо живешь?

— Хорошо.

— Тебе мама котлету дала на ужин и кашу. Потому что у нас гуманное общество. Называется — социализм.

— Где?

— Везде, вокруг.

— И на улице?

— Везде. А есть другие страны. Ну хоть Америка, знаешь? Так вот, там капитализм, и многим мальчикам нечего есть на ужин, потому что их родители нищие, безработные.

— Вообще ничего не едят?

— Едят, но редко, всякую дрянь.

— Наверное, тушеную капусту.

— А несколько дядек сидят и управляют всеми остальными. У них много денег и всякой вкусной еды, а остальные люди на них спину гнут, понял?

— А если не захотят гнуть? — прошептал Феликс.

— Тогда в тюрьму, а могут и убить, были такие случаи,— объяснил Николай Кузьмич.— Капитализм — страшная вещь. Ну, пойдем, я тебя уложу.

Они миновали шкаф без приключений, и Феликс шустро забрался под одеяло.

— Папа,— сказал он шепотом,— хочешь, я открою тебе одну тайну?

— Давай.

— Только не говори маме и вообще никому.

Пригнув голову отца обеими руками, он прошептал:

— А в нашем детском саду капитализм. Потому что Нелли Сергеевна и Клавдия Семеновна все вкусное съедают сами и уносят в сумке домой. Я сам это видел, папа.

ФЕЙН И ПАВЛИК

Весь комизм заключался в том, что он был вылитый Николай II Кровавый, но фамилия его была Фейн, и он был еврей. К тому же он был племянником советской атомной бомбы, поскольку его дедушка приходился ей одним из отцов.

Когда-то мы были приятелями — он, я и Павлик. До седьмого класса мы учились вместе, но потом Фейн перешел в какую-то суперспецшколу, инкубатор для вундеркиндов, имени Второго Закона Термодинамики или Черта в Ступе, точно не помню. Мы же с Павликом продолжали образование в нашей средней политехнической, не теряя, впрочем, контакта с яйцеголовым двойником последнего российского самодержца.

Где-то на семнадцатом году жизни, окончательно сформировавшись как половозрелая особь, Фейн начал являть нам с Павликом образчики дурного, если не сказать извращенного, вкуса. С упорством одержимого он шнырял по Москве, выискивая себе подружек чрезвычайно уродливой наружности, способной соперничать разве что с убожеством их внутреннего мира.

— Где он их откапывает? — спросил меня как-то раз трезвомыслящий Павлик.

Я пожал плечами. Наконец мы сошлись на мнении, что фейновские девицы, вероятно, — побочный продукт исследований секретной дедушкиной лаборатории.

Разумеется, это было личное дело Фейна, на ком вымещать ярость своей юношеской потенции, но ужас состоял в том, что он категорически настаивал на представлении нам с Павликом каждой новой пассии. Поскольку же сексуальные поиски нашего приятеля неизменно увенчивались тем, что новенькая всякий раз оказывалась на порядок непригляднее и скудоумнее своей предшественницы, а самая молоденькая из них была старше нас лет на двенадцать, эти смотрины отнюдь не относились к числу наших излюбленных развлечений.

Фейн умасливал своих чаровниц портвейном «Кавказ», также являвшимся неотъемлемой частью его системы эстетических координат.

Никогда мне не забыть этого парада уродов! Перед нашим с Павликом ошеломленным взором промелькнуло столько кривых ног, выпирающих ключиц, кряжистых торсов портовых амбалов, вытравленных перекисью волос, чугунолитейных икр, плохо пропеченных лиц, всего этого безбровья и нездоровой одутловатости, что я до сих пор поражаюсь, как столь сильные потрясения, испытанные нами в самом деликатном возрасте, не истребили в нас нормального гетеросексуального начала.

В общем, созерцание фейновского паноптикума оттенило период подготовки к выпускным школьным экзаменам каким-то кафкианским колоритом. Потом я поступил на факультет журналистики одного московского института, название которого было известно всем, хотя в ту пору почему-то не значилось в справочнике «Куда пойти учиться». Этот институт, основанный, как поговаривали, Молотовым, внес немалый вклад в формирование в нашей стране наряду с трудовыми династиями металлургов, горняков и механизаторов, династий дипломатов, внешнеторговцев и журналистов-международников. Фейн стал студентом

технического ВУЗа с длинным наименованием, сочетавшим в себе какую-то бывшую лженауку, а также ряд отраслей, в которых мы отстали от наиболее развитых капстран на два поколения. Павлик же, долгое время находившийся во власти своей флегмы и лишь в последний момент внезапно остановивший свой выбор на геолого-разведочном институте, экзамены завалил и в течение двух последующих лет по вполне понятной причине отсутствовал, накручивая хвосты самолетам на военном аэродроме в восточной Сибири.

Возможно, именно отсутствие рассудительного и спокойного Павлика сыграло зловещую роль в той коллизии, которой было суждено развести нас с Фейном на годы. Вдвоем, плечом к плечу, мы были в состоянии выдерживать безудержный напор материализовавшихся эротических фантазий молодого гения. Один же я был бессилён.

Как-то зимой, в начале второго семестра, Фейн приперся ко мне домой с очередной избранницей, чья фигура, на мой взгляд, могла отправлять одну-единственную функцию: идеальной самоходной модели для изучения геометрии Лобачевского. Пересекающиеся параллельные были облечены в сиреневый кримплен.

— Альбина, — басовито представилась фейновская малютка и отрывистым жестом номенклатурного работника протянула мне свою здоровенную лапищу.

— Карлос, дон, — буркнул я, досадуя на неурочный визит, и, язвительно скосившись на кавалера, галантно изогнулся, якобы для того, чтобы припасть к ручке, а затем отпрянул, якобы припомнив, что руки приличествует целовать только замужним дамам.

Успеха моя пантомима не имела: будая тяжелыми сапожищами на «платформе», сиреневая фея прошествовала в угол, плюхнулась там в глубокое кресло и закинула ногу на ногу, явив взорам двух юных идальго бирюзовые штаны на резинках.

— Клянусь честью, ты своего добился, старик Фейн, — шепнул я. — Она страшнее твоей тетки.

— Какой еще тетки?

— Да атомной бомбы, какой же еще-то?

— Ты кретин, — заметил Фейн. — И ты ничего не понимаешь. Поставь-ка лучше музыку.

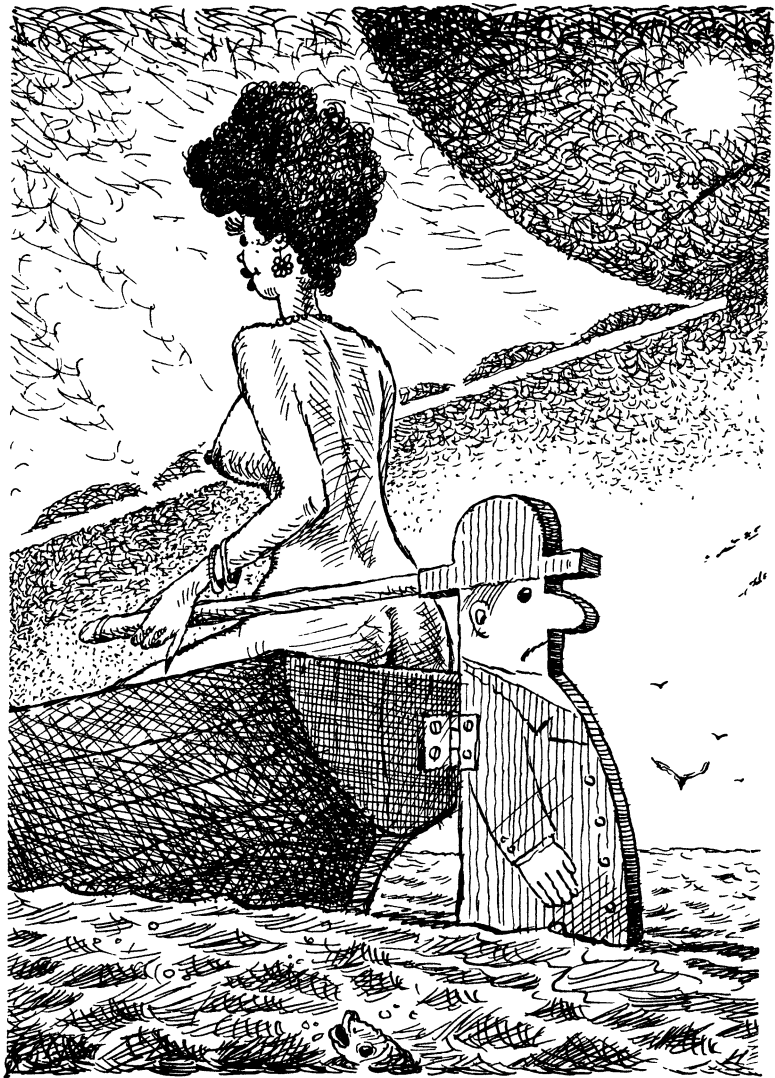
— У вас «Дилайлы» Тома Джонса нету? — слышалось из угла.

Повинуясь мгновенному импульсу, я поставил кассету с записью диска «Параноид» группы «Блэк Сэббэт».

— Так чего же именно я не понимаю, старик Фейн? — осведомился я.

Он начал горячо и сбивчиво лопотать о декадентах, Бодлере и особом даре улавливать в прекрасном отталкивающее и наоборот.

— Ты бы лучше Бодлера не трогал, паршивец, — произнес я задушевно. — И декадентов тоже. Гумилев в гробу ворочается. Ни фига себе акмеизм! — И я выразительно посмотрел в угол.



При всей своей неевклидовой сущности Альбина, видимо, почувствовала, что атмосфера накаляется, и решила ее разрядить:

— Слышали про Гольфстрим? Прибегает Петька к Василию Ивановичу: «Василий Иваныч! Гольфстрим замерз!» А тот ему: «Сколько раз, Петька, повторять, чтоб не брали в дивизию евреев!»

Я вытаращился на Альбину, исчерпав за мгновение весь ресурс природного магнетизма. Моего взгляда хватило бы, чтобы испепелить кубометр осиновых дров, но существо в кресле казалось неуязвимым. Я перевел глаза на Фейна и успел отметить на его лице печать ласкового идиотизма.

— А хотите, братцы, я вам погадаю? — спросил я, сам не знаю почему.

— Ой, давайте, — активизировалась фейновская мамзель. — Жутко интересно, правда, заяц?

Боже, неужели в качестве длинноухого врага капустных плантаций выступал мой несчастный друг?

— Конечно, заяц, — добродушно сказал Фейн.

Вот так, уже два зайца! Я чувствовал себя лишним на этом празднике зоофилии. Достав из ящика письменного стола колоду карт, я начал медленно ее тасовать.

— На трюфеля короля и бубновую даму, — заказала Альбина.

— У меня свой творческий метод, — отрезал я. — Принцип первый: чтобы карты не соврали, на них нужно посидеть. — И протянул ей колоду.

Альбина с готовностью взгромодилась на карты своей внушительной плотью и для верности даже немного поерзала:

— Хватит?

— Еще немного... Теперь — хватит, — определил я. — Сейчас узнаем, на чем сердце успокоится.

И я начал гадать — в первый, да и в последний раз в своей жизни.

— Братец Фейн у нас будет... пиковая дама? Нет, не дама... А будет он — бубновый туз! А Альбиночка у нас будет — джокер. Тэк-с... Пять червей в одном ряду — не накликать бы беду... А с чего бы здесь валет? А вот — казенный дом. Нет, два казенных дома. Два казенных дома и пиковый интерес.

Конечно, всей ахинеи, которую я нес, за давностью срока не упомянуть, да и не стоит оскорблять ею бумагу. Развязка наступила, когда я, наморщив лоб и прищурив левый глаз, провозгласил:

— Жить вы будете долго, но скверно. А на третьем году пятилетки ты, Альбиночка, по неосторожности от Фейна понесешь и родишь ему на радость чемодан свиной кожи.

Вот тут-то Фейн и рассвирипел. Я увидел, что его лицо приобретает явственный бурый оттенок. Он вскочил:

— Пойдем отсюда, заяц. — Он схватил Альбину за руку и буквально выдернул ее из кресла, как свеклу из суглинка. Не говоря ни слова, проталил в прихожую, будто маленький решительный буксир груженную щепнем баржу, сорвал с вешалки оба пальто, свое серое и ее

бежевое — она только вертела головой, ничего не понимая, — и гулко хлопнул дверью.

Чего крамольного Фейн нашел в моей дурацкой болтовне — я так и не узнал и теперь вряд ли когда-нибудь узнаю. Неужели чемодан?..

Письмо, полученное мною вскоре от Павлика, дышало беспокойством: «Что вы там с Фейном не поделили? Почему он так уверен, что ты сучий потрох? Не могли меня дожидаться?» и т.д. Павлик тогда не знал еще, что ему предстоит стать единственным звеном, связующим двух прежних товарищей.

Он вернулся по весне, претерпев три визуально различимых изменения. Подрос, раздался в плечах и отвердел лицом. Некоторое косноязычие, а также странную привычку, сидя у стены, откидывать голову назад и елозить стриженным затылком по обоям, я отнес на счет остаточных явлений воинской службы.

В честь его возвращения мы пошли в «Сайгон». Этим своим (неофициальным, разумеется) названием скромный пивной бар неподалеку от Киевского вокзала был обязан буйству нравов и моральной распущенности своих завсегдатаев. Драматургия московского «дна» порождала сцены, вызывавшие у их невольных свидетелей смутные, но прочные ассоциации с прифронтовым городом Юго-Восточной Азии.

Мы пренебрегли первым этажом, сомнительным украшением которого служили пивные автоматы, и поднялись на второй, отданный во власть официантов, преимущественно крепких молодых парней в синих форменных пиджаках и синих же «бабочках» с уныло свисающими вниз, наподобие гуцульских усов, крылышками. Свободных мест было мало, и нас посадили за стол к мужчине лет пятидесяти, в очках и с прической «волной». Ни о чем нас не спрашивая, официант принес нам с Павликом по суповой тарелке вареных креветок, третью — для мусора и шесть кружек пива. Разнообразие в «Сайгоне» не поощрялось.

После первой кружки, всасываясь в тщедушное розовое тельце креветки, Павлик, будто между прочим, сообщил:

— А я с Фейном встречался.

В этот момент за столиком в углу вспыхнул один из тех скоротечных конфликтов, которые, собственно, и принесли заведению дурную славу. Некто, перегнувшись через стол, оглоушил своего сотрапезника кружкой по темени, да так ладно, что в руке у агрессора осталась одна ручка. Павлик обернулся на шум, а я тем временем успел подумать о том, как мне следует реагировать на его сообщение. С одной стороны, я соскучился по Фейну, с другой, мне хотелось, чтобы первые шаги к примирению сделал он сам. Мысль о том, что этот дурак променял меня на одно из своих чудовищ, вызывала дрожь негодования.

Павлик же, удостоверившись, что конфликт в углу носит чисто локальный характер, продолжил:

— Он теперь стихи пишет. Пишет и в ящик складывает. Говорит, нашему поколению не дано его оценить. На будущее работает.

При упоминании о стихах очкарик напротив встрепенулся:

— Ребята, вы Вознесенского любите?

— Любим,— сказал Павлик, вытаскивая изо рта длинный креветочный ус. Павлик всех любил. И Вознесенского, и Фейна, и меня.

— А я не люблю!

— Правда? — спросил я. — А это? — И прочитал ему «Немых обсчитали...»: «А третий, с беконом, подобием мата...»

— Вот это поэт! — вскричал экзальтированный очкарик, обнаруживая завидную мировоззренческую гибкость. — А вы тоже послушайте, я тут написал, когда наш отдел на картошку послали. «Что такое трактор? Трактор — это фактор! Фактор продвижения вперед!»

Дальше шло что-то уж совсем неудобоваримое.

Выслушав этот вздор до конца, я спросил у Павлика:

— Как ты считаешь, Павел, трактор — это действительно фактор?

— Угу,— сказал Павлик. — А еще больший фактор — танк.

К Фейну в этот вечер мы уже не возвращались.

...После третьего курса я женился, а спустя непродолжительный, физиологически обусловленный срок у меня родилась дочь. Не успели мы с женой вынырнуть из омута пеленок, диатезов и диспепсий, как на меня нахлынул пенистый вал диплома. Корявая проза жизни свела наше общение с Павликом к минимуму. У него, как он выражался, все было «тип-топ»: старый Фейн взял его в свою секретную лабораторию. Экстерьер Павлика и в самом деле не давал повода усомниться в этом «тип-топ», а доминировали в экстерьере здоровый румянец и джинсы «ливайз». Время от времени он будоражил мою память информацией о Фейне, но, странное дело, ни разу даже не заикнулся о том, что, мол, пришла пора положить конец нашей нелепой конфронтации. Я же неоднократно давал сам себе торжественные обещания снять трубку и набрать номер, до сих пор не выветрившийся из моей головы: завтра же... нет, в понедельник... Если не захворает дочка, если не поссорюсь с женой... Если не будет дождя.

Павликовы сообщения были коротки и драматичны, как военные сводки.

— Фейн бросил институт.

— Да ты что?

— Бросил. Он теперь маслом пишет.

— Что пишет?

— Как что? Картины. Больше натюрморты. Я к нему захожу, а вся комната в мольбертах. Холст, а в центре — такая загогулина, вроде живчик. Спрашиваю, а это что? Он говорит, это мазок Фейна. Новое в живописи.

— «Луна и грош», — сказала я.

— Что?

— Сомерсет Моэм.

— Ага.

Однажды ночью нас разбудил звонок. Чертыхаясь, я бросился к телефону, наступив в темноте на резинового Буратино своей дочки и чуть было не свернув шею.

— Это я,— раздался в трубке голос Павлика.— Знаешь, откуда я говорю?

— Ничего не понимаю. Ты что, пьян, скотина?

— Я из Шереметьева звоню, понял? Из Ше-ре-мельева.

— И на кой черт ты мне звонишь в четвертом часу из Шереметьева, гадюка?

— Я только что Фейна проводил. Он улетел, Фейн!

— Куда улетел?

— В Рим!

— В Рим? Какой идиот его в Рим пустил? Им мало разрушенного Колизея?

— Так он же женился!

— А Рим при чем?

— На итальянке женился. На внучке основателя ихней компартии.

— Фейн?! На внучке? Чьей внучке? Грамши, что ли?

— Может, и Грамши. Что-то в этом роде. Черт, забыл.

— Она что, страшная?

— Да нет, ничего. Итальянка.

Этот разговор я переваривал долго.

А месяца через три Павлик появился ко мне с большим баулом и предложил купить джинсы и куртку из какого-то новомодного кожзаменителя.

— Откуда шмотки? — спросил я.

— Да Фейн прислал из Италии! Продать просил.

— У него, что, с рублями напряженка?

— А шут его знает! Просил, и все.

Жене куртка понравилась, и мы ее купили, отсчитав Павлику двести, что ли, рублей.

Вскоре нагрянул переезд на новую квартиру, ставший возможным благодаря размену большой родительской. Катаклизм ремонта, охота за мебелью и другие форс-мажорные обстоятельства повлекли за собой довольно-таки длительный антракт в моих сношениях с Павликом. Я работал, у меня появились новые знакомые, и на дефицит общения я пожаловаться не мог, как не мог похвастаться и излишком свободного времени. Раз два-три я Павлику звонил, но его номер не отвечал. Я не слишком удивлялся, зная, что Павликовы родители, выйдя на пенсию, большую часть года живут в своем шестисоточном садово-огородном поместье.

Холодным и ветреным августовским днем меня занесло на Комсомольский проспект, и я решил навеститься в магазин «Океан» (теперь, кстати, он зовется «Обью» — все мельчает) проверить, нет ли случайно креветок.

У входа мыкался мужик с детской коляской: ясное дело, жена за треской стоит. Он обернулся ко мне вполоборота, и я застыл на полном скаку: Господи! Старик Фейн! Негодник отпустил бороду, сделавшую его сходство с последним представителем династии Романовых вовсе уж патологическим...

— Фейн! — заорал я во весь голос, взметнув в воздух стайку голубей, клевавших какую-то дрянь неподалеку. — Дружище Фейн!

Он увидел меня и приветливо ухмыльнулся:

— А... привет! Привет, старый.

Мы пожали друг другу руки, а я, не удовлетворившись этим, еще и похлопал Фейна по плечу.

— Ну, как ты? Постой! Ты что, вернулся? — спросил я возбужденным от радости голосом.

— Вернулся? Откуда?

— Как это откуда? Из Рима, разумеется.

— Из Рима? Из какого, к черту, Рима?

— Ну как же! Ты же ведь женился на итальянке? На внучке Грамши или кого там еще?

— Что ты чепуху порешь? Грамши? Что за Грамши?

— Антонио! Тебя же Павлик из Шереметьева провожал...

— Павлик?

— Ну да. Кстати, как он? Ты его видел?

— Значит, так, — сказал Фейн. — Во-первых: ни на какой итальянке я не женился и вообще на запад дальше Наро-Фоминска не выезжал.

— Но Павлик...

— А Павлик сейчас нехорош. Это во-вторых.

— То есть? Как это — нехорош?

— Под следствием Павлик.

— Иди ты! Павлик — под следствием?

— Ага. Связался с урлой, залезли в квартиру, стащили ордена...

— Какие ордена?

— Советские! Какие... Потом Павлик пытался их толкнуть на Беговой у комиссионного, там его и взяли.

Беговая, ордена, урла — все смешалось в моей голове.

— А где он... Постой. Где он урлу-то нашел?

— Где работал, надо думать, там и нашел.

— В секретной лаборатории?!

— Секретнее некуда! Винный буфет ресторана «Москва», младшим научным грузчиком...

В экстремальных ситуациях человеческий мозг нередко ищет пути отхода на менее стрессоопасные направления. Я заглянул в коляску. Там мирно посапывал щекастый розовый младенец, которому решительно наплевать было на всех Павликов мира.

— Твой? Или твоя?

— Мой. Есть еще дочка, у бабушки.

— И у меня дочка. А как... мазок Фейна? Завоевывает мир?

Он слегка задрал бороду. Признак недоумения?

— Ну да, ну да,— пробормотал я.— Видишь ли... А я вот куртку у Павлика купил, думал, она от тебя, из Италии...

— Может, и из Италии.

— А ты... работаешь, да?

— После института — в НИИ.

Про стихи я спрашивать, естественно, не стал.

Из магазина степенно выплыла осанистая матрона с большущим полиэтиленовым пакетом в руке. Она направилась к нам. Удивляться в тот день я уже больше не мог, и меня хватило лишь на то, чтобы достаточно бесцветным тоном произнести:

— Здравствуйте, Альбина. Добрый день.

— Здравствуйте.— Она пригляделась ко мне.— Здравствуйте.

Младенец в коляске забулькал, потом закричал, и Фейн, сложив губы кульком, загудел и начал ритмично подергивать колясочку.

— Ну что, поговорили? — спросила Альбина как-то буднично.— Зашли бы к нам как-нибудь. Заяц, нам пора,— обратилась она к Фейну.— Нам еще в «Колбасы» надо зайти и в «Синтетику».

И заячье семейство удалилось продолжать свой нехитрый промысел.

Я ощутил слабый позыв окликнуть Фейна, догнать его, что-то сказать, или спросить о чем-то, или предложить... что? Дружить домами? Какое там...

Толкнув дверь, я вступил в захудалое рыбье королевство. Креветок в тот день, как и следовало ожидать, в продаже не было.

АМБА

Никогда она ничего мне не делала. Она же ничего не умеет. У нее яичница подгорает сразу с обеих сторон, представляешь? Я с работы прихожу, она все время лежит, грызет яблоки и читает. Протянет руку, возьмет не глядя, хрум, хрум — только хвостик задумчиво положит обратно на тарелку. Безотходное производство какое-то.

А в тот раз я устал как черт. И горло болело. Ну, пришел, ужином, конечно, и не пахнет. Ладно! Стал отбивать мясо. Она закурила и говорит: «О, если б раб жил тысячью жизнью! Для полной мести мало мне одной...» Я, естественно, молчу, только бью по мясу сильнее. Тут она с таким презрением, знаешь, просто жутким презрением в голосе и надменно так заявляет: «А ведь ты не знаешь, откуда эти строки!» Я молчу все равно, а мяско бедное от моих ударов уже совсем расползается по доске. Кое-где дырки появились. «Где,— спрашиваю,— сковородка наша?» Она стряхивает пепел в горшок с цветком: «Все эти глупости,—

высокомерно говорит, — меня не занимают. А ты малоразвитый и даже не знаешь, что я прочла тебе строки из «Отелло».

И-ну! И тут я заметил, что цветок мой весь в окурках! Мне даже показалось, что листья немного скукожились. Он как-то по-особому называется, забыл, житель пустынь и растет жутко медленно. Я его чуть ли не пионером еще посадил, правда, лет десять назад, землю рыхлил, поливал дождевой водой и убивал тлю. А эта его не переносила, особенно когда случайно порвала о колючку рукав какой-то турецкой кофты.

Тут я не выдержал, что говорить... Размахнулся и как ахну молоток в мойку, а там гора грязной посуды. Я просто озверел.

— Ты, — говорю, — неприятное существо, лежишь тут целыми днями, как большая котлета...

Она даже не вздрогнула, глазом не моргнула. Воткнула окурочку в горшок и с большим олимпийским спокойствием делает следующее заявление:

— Ты, Вова, человек с бытовым сознанием. Абсолютно. Я же, напротив, безу... словно, человек с ноосферным сознанием. Отсюда несовместимость и антагонизм, делающий нашу дальнейшую совместную жизнь невозможной. Мы разведемся. Амба.

Я вытащил молоток из-под осколков; тут же, кстати говоря, и сковородку разыскал. Давай, давай, говорю, беги, разводишься. Испугала!

И начался какой-то кошмар. Я как человек отходчивый утром встаю, готовлю завтрак и говорю вполне беззлобно: «Давай вставай, чисти чашки». А она выскочила из-под одеяла как черт из табакерки, схватила с кровати мою пижаму и — раз ее на пол. Я обалдел. Я, между прочим, ее сам стираю. И орет еще своим хриплым голосом: «Не смей приближаться к моей кровати, я тебе сказала, что подам на развод!»

Шабаш какой-то! Кровать у нас одна, хотя и широкая. И купила нам ее моя мама в числе прочих вещей, чтобы поддержать наш союз. Я сдерживаюсь, отвечаю вполне резонно: «Эта кровать моей матери, так что лучше подними мою пижаму и замолчи». Когда я сказал про маму, что тут началось! Будто буря разразилась или цунами пронеслось. В глазах потемнело. Это она в меня швырнула какой-то своей вещицей. Должно быть, сапогом. Если не канделябром. Набрала в грудь воздуха и закричала так, что, думаю, лифтерша внизу перекрестилась: «Твоя мать — женщина с бытовым сознанием! Пусть она подавится кроватью! Чтоб она не смела совать нос в эту квартиру, иначе я за себя не отвечаю!» Проорав все это и кое-что еще, она прыгнула моментально в кровать и спряталась под одеяло.

Я целый день был сам не свой. Переживал и на работе все приглядывался к нашим теткам. Ну, тетки как тетки. А я смотрю и думаю: интересно, как они дома расправляются с мужьями. Дубасят, небось, при случае. Нет, кто их поймет? То вроде все делают, чтобы понравиться мужчинам, а на проверку выходит, что этих же мужчин вроде как и ненавидят.



Все-таки я решил как-то загладить конфликт. Вечером заявляюсь домой с букетом. Кстати, она-то мне никогда ничего не дарила. Одеколона не дожدهшься. А теща — вообще не поверишь! Эта жила моей маме на пятидесятилетие подарила ложку за два рубля.

Открываю я дверь и первое, что вижу в прихожей — огромные мужские сандалии, такие мерзкие, с прорезями для пальцев и пятки. Заглядываю в комнату: эта с каким-то хреном кофе пьет. Новое дело! По-знакомься, говорит, это мой коллега, он мне будет помогать с диссертацией. А у него морда в прыщах. Ну, этот тип вскочил с кресла, завалил задом, будто собака, которая ластится к хозяину.

— Будем знакомы — Андрей Абрамович Волк.

Я говорю:

— Меня Вовой звать.

И ем его взглядом. Другой бы понял, надел свои сандалии и ушел, этот — нет. Плюхнулся обратно в кресло и стал в чашку сахар сыпать. Две ложки, три, четыре. Нет, ты представляешь, этот Волк явился в мой дом, в этих своих сандалиях, разбросал их по всей квартире и кофе с сахаром пьет. Гадюка.

Подсел я к этой милой парочке. «Боюсь, говорю, что дело это с диссертацией весьма бесперспективное. Супруга рождает ее уже восемь лет. И пока, извините, гора родила мышь в виде разрозненных страниц, да и те я на работе печатал».

Волк этот в кресле заерзал, а я напирал:

— Не обидно вам драгоценное свое время тратить, товарищ Волк?

Жена вспыхнула, зажмурилась в гневе, однако сдержалась и говорит этому типу:

— Андрюша, не обращайте внимания на выходки моего мужа. Он так шутит. Его воспитанием никто по-настоящему не занимался. Хотите бутерброд с колбаской?

Не было сил моих смотреть на все на это, плюнул и ушел в спальню. Сел на кровать и задумался: ведь было в нашей жизни много хорошего. Куда же делось это хорошее, почему оно ушло? Жалко стало себя непереносимо.

Не знаю, сколько времени прошло, слышу, хлопнула дверь, предстала передо мной жена. И, представляешь, за какое-то мгновение успела снять красивое красное платье, в котором сидела с Волком, и нацепила гнусный бордовый байковый халат.

Собрав волю в кулак, я обратился к ней душевно, хотя голос мой дрожал: «Вот, Наташа, я цветы тебе принес. А тут этот Волк. Зачем он здесь? Зачем он в нашем доме пожирает колбасу? Давай мирно все обсудим, ведь жили мы как-то десять лет, ведь объединяло нас нечто?» Протягиваю ей букет, но букет тут же летит в угол, а комнату заполняет крик, парализующий мое тело: «Я нашла в Ремарке сберкнижку! Откуда у тебя эти деньги? Ты впутался в аферу! А Волк мне друг!»

А эти пятьсот рублей мне завещал дед. Ну, я положил сберкнижку в томик Ремарка, между «Тремя товарищами» и «Черным обелиском». Бывает, что положишь, а потом забудешь. Что тут такого, не понимаю.

И тут, в самый разгар событий, появляется моя мама. Ну как нарочно. Она входит в комнату, нюхает воздух и говорит:

— Что-то у вас все пылью пропахло.

Наталья посмотрела на нее косо и говорит: «Пусть эта женщина немедленно покинет квартиру, которую доставал мой папа, зампред». Мама тем временем идет на кухню и оттуда громко спрашивает:

— Скажи мне, сын, что приготовила тебе сегодня на ужин жена?

Я поднялся и ушел в ванную, пустил там воду из крана, чтобы ничего не слышать.

Неужели действительно амба? Да нет, не думаю. Пройдет все это. Все-таки десять лет вместе прожили. Ноосферное сознание? Да черт с ним! Несовместимость? Может быть, может быть. Но квартиру жалко.

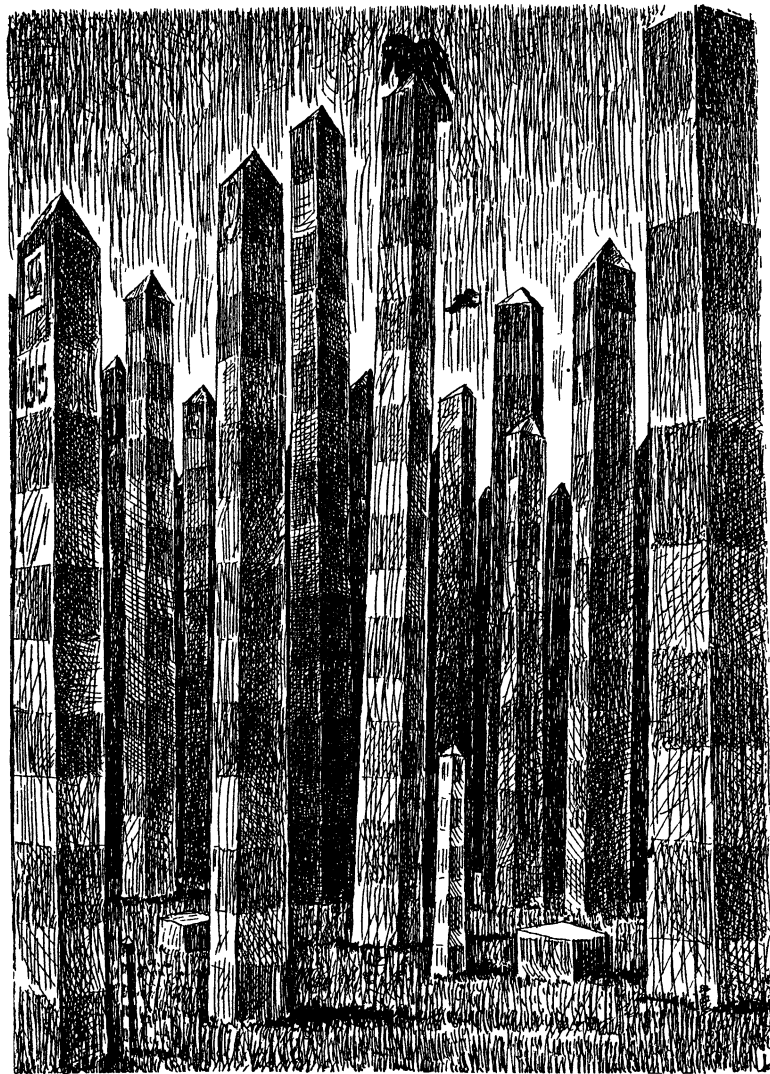
Вот только Волк теперь чуть ли не каждый день приходит и даже перестал снимать сандалии.

СТО ГОЛЛАНДСКИХ ТЮЛЬПАНОВ

Пяткины возвращались домой от своих приятелей Хитровых. Виктор Андреевич вел машину медленно, рулил небрежно одной рукой. Жена Алеватина притихла на заднем сидении; сбросив тесные туфли на шпильках, она расслабленно шевелила пальцами.

Пяткин ругал себя за лень и скаредность. Если бы они поехали в гости на метро или на такси, за столом можно было бы опрокинуть рюмку-другую. За недоступностью иных развлечений Виктор Андреевич вынужден был приналечь на запеченную свинину, и теперь внутри было неспокойно, нехорошо. Поерзав, чтобы устроить поудобнее свое несколько расплывшееся тело, он попытался вычислить зачинщика внутренних беспорядков. Печень? Поджелудочная, скотина? А, ерунда.

Алеватина тем временем прокручивала в памяти подробности вечера, приходя к малоутешительному выводу, что Хитровы, пожалуй, больно уж хорошо живут. Золотистый отблеск пятилетней заграничной командировки играл на сияющей сантехнике («А унитаз называется «Роза Версаля»: попробуйте, какой мягкий спуск»), видеомагнитофоне «Фишер» («А теперь посмотрим клипы. Или Бенни Хилла, Костик?»), светильниках сексапильных форм, телефоне без шнура, кофеварке с таймером и прочих аксессуарах таинственного иностранного быта. Алеватина вспомнила свою раковину с трещиной, извилистой и протяженной, как советско-китайская граница, идиотский плюшевый ковер над диваном и пригорюнилась.



Но главная неприятность скрывалась в другом: за пять лет разлуки неузнаваемо изменилась жена Хитрова Люська. Была толстая — стала худая, была морщинистая — стала гладкая. Устремленные под немислимым углом вперед бежевые зубы, доставлявшие столько тихой, несуетной радости Люськиным подругам, остались где-то там, далеко за Брестом, уступив свое законное место блестящему фарфору. И это бы ничего, но окончательно сразила Алевтину Люськина веселость. Никаких разговоров о болезнях, трудностях, неприятностях, безденежье — одни рассказы про голландские чудеса. Якобы лоджия была с освещением, а стиральная машина — с компьютером.

— А на наш юбилей Костик мне подарил сто тюльпанов, представляете?

«Ах ты, дрянь такая», — думала Алевтина, дружелюбно щерясь.

— А это кто? — спросила она, указывая на карандашный портрет в изящной витой рамке.

— Да я это, не узнала, Аль? Глазунов к нам в Амстердаме заходил, когда королеву Беатрикс писать приехал, ну и...

«На тебе!» — подумала Алевтина, восхищенно кудаяхтая для маскировки чувств.

— Халтурщик, — высказался Пяткин, жуя свинину.

Машина остановилась у светофора, полыхавшего красным. Алевтина с тоской посмотрела на покатый затылок мужа. Нет, все-таки Хитров — мужик. Умеет устраиваться, всюду пролезет. Сейчас вроде бы опять на повышение идет. Люська за ним, как за каменной стеной. Работать-то, спрашиваю, когда выйдешь? А она: «Этот вопрос у нас так остро не стоит. Правда, Костик?»

Костик в клетчатых штанах благодушно кивает головой.

«Да что это я? — одернула себя Алевтина. — Люська-то в чем виновата? Вот только шубу не нужно было показывать. Подумаешь, шуба. Хотя мех, конечно... А куда в нем ходить?»

— Не волнуйся, голубушка, уж нашла бы куда! — насмешливо бухнул вдруг в голову какой-то чужой, вредный голос.

Кульминацией вечера был, конечно, показ слайдов на здоровущем экране, столь неожиданно появившемся на одной из стен.

— И опять же — Люсек, — комментировал демонстрацию Костик. — Максимова — справа. Слева — Васильев.

— В Париже были, правда, только проездом, — включается Люськин голос. — Ну, чтобы осмотреть хорошенько один Лувр (произносится уже не «у», но еще не «ю», губы имеют форму маслины), нужен месяц! А фильмы! Мы там были в одном маленьком кинотеатре, где как раз показывали «Гончих псов». Слыхали? Там одна сцена... — Люська сует свою маслину прямо в Алевтинино ухо, рассказывает, закатывая глаза и хихикая. Алевтина закатывает глаза вполне синхронно. — Потом коллеги нас потащили в китайский ресторан, ну, а вечером погуляли по Елисейским...

— А Потапова видели?

— Толика-то? А то! Отличный парень, Костик с ним дружит. Он нас провел в Гранд-Опера на хор грузин. Французы балдели.

Балдеющие французы виделись Алевтине смутно: смокинги, шиниллы, шмыгающие гаврошоподобные мальцы с пачками толстых газет.

...Пяткин, не имевший, как и большинство мужчин, привычки к завесту, в ходе ужина тоже получил определенную информацию к размышлению. В память особо врезалась 24-я «Волга» с дизельным двигателем, вывезенная Прыгиным из сопредельной северной страны. Ах, черт! «Мы с приятелем вдвоем работали на дизеле...» Пяткина беспокоили цены на бензин. Машина пожирала большую часть семейных доходов.

— Аль, — сказал он. — Меня тут пошлют, наверное, в Берлин. Где-то на неделю. Я вот решил: привезу газовый баллон. Поставлю, будем экономить. Года за два окупится.

Алевтина дернулась.

— Да ты что? — спросила она хрипло. — Ты о чем думаешь? Ты мне не заикайся даже об этом! Какой баллон? Кругом дыры, дыры одни! Ты это понимаешь? Дыры! — выкрикнула она тонким голосом.

— Нет, баллон мне нужен, — тягуче произнес Пяткин. — Он себя окупит!

— Ах, ты, — зашипела Алевтина, — раз в год на неделю выбираешься, и все без толку! Простый раз из Англии ты что привез? Ты помнишь, что? Станок для обработки дерева? Зачем? Ответь мне, зачем он тебе понадобился? Тоже мне мастер-краснодеревщик! Другие жены ходят как игрушки! А у моих сапог день рождения в этом году! Десятилетний юбилей справлять будем.

— Не-е, баллон — вещь, — упрямо тянул свое Пяткин.

— Слушай, а почему тебя в долгосрочку не посылают? — спросила вдруг Алевтина. — Ты что, плохо работаешь? И ты давно член. Чего мы все сидим, спрашивается? Чем Хитров лучше? Он же двоечник был, ты сам рассказывал. И аморалка за ним числилась. Помнишь, он крутил с какой-то щучкой?

— Да не было ничего. Что ты ерунду городишь? Партком тогда разобрался, — рассердился Пяткин.

— Ну ладно, не в этом дело. Но ты-то сделай что-нибудь, пойдешь в кадры, закинь крючок, скажи, пусть посылают.

Пяткин невесело засмеялся.

— Дура ты моя, дура, ничего не понимаешь, — сказал он беззлобно. — Тут все не так просто.

— Почему это дура? Люська что, умнее?

— Да бог с Люской. Меня в долгосрочку медкомиссия не пропустила.

— Почему так? — забеспокоилась Алевтина. — Ты же здоровый, как слон. Только что два кило свинины умял — глазом не моргнул! Они что там у вас, в министерстве, офонарели?

— Таков закон, — сказал Пяткин обреченно. — У меня вены на ногах.
— Ну и что, у всех вены.
— А на медкомиссии заставляют брюки поднимать. Как вены увидят — сразу под зад коленом: никаких командировок.
— Не может быть! — потрясенно прошептала Алевтина.
Пяткин сурово промолчал.
— Вить, тебе бы бегать по утрам, — с вопросительной интонацией произнесла Алевтина. — Хитров вон бегает. И соки ты не пьешь.
— Зато ты пьешь, — проговорил Пяткин задумчиво, посигналив пешеходу, не то шальному, не то пьяному.

Ночью Алевтине снились приятные, логически непоследовательные, красочные сны: мельницы, тюльпаны, домики с черепичными крышами, катки с голубоватым льдом, румяный толстяк на рекламном щите с надписью (почему-то по-русски) «ПАИ», Квазимодо в ночи, топающая ногами Эйфелева башня. Снилось, что ее целует и дарит сто тюльпанов-международник Потапов. Утром она проснулась в хорошем настроении, за завтраком предложила мужу:

— Давай купим тур, хочется посмотреть все-таки на этот Париж.
— Купишь уехал за границу, — ответил ей Пяткин. Он пил чай, читал «Правду» и не хотел вступать в долгие разговоры.

ЧУМА

Когда настал их звездный час, они умело скрыли свою порочность. Или я на миг утратил бдительность? Я ввел их в дом, как маленьких черных друзей, а на следующий день, когда я гнался за автобусом, они, всплакнув по-бабьи, развалились, прекратив свое земное существование. Может быть, в другой своей жизни они примут обличье бойких тараканов, осадивших наш бедный город в противоестественном союзе с воронами. В последних — есть мнение — вселяются души усопших управдомов.

Шофер автобуса увидел, что я бегу босиком, упал от смеха на руль и дал газ. Тогда я вернулся к останкам ботинок, положил их прах в портфель и пошел на службу пешком. Нет, не могут сделать хорошую обувь, думал я со злобой, водитель — вредитель, а уж эта улица мне давно на нервы действует. Это вот — озеленение? Ну, не знаю, не знаю. А вот бы тут клумбу разбить и засеять белыми грибами, как в Чехословакии или где-то, мне рассказывали. Задорную веселенькую девчонку поставить с жезлом, чтобы детей через улицу переводила, а не этого янычара в болонье. Товарищ янычар, не глядите так на граждан: граждане окаменеют.

Я бы сюда — три скамейки и туда — пять. С одной стороны стару-

хи бы сидели, а с другой — молодежь. Где молодежь — урны, чтоб не со-
рили.

После погони за автобусом мучила жажда, и я направился к ближай-
шему магазину. Кстати, тоже неправильно устроен. Мне бы такой мага-
зин: здесь — бакалея, там — сыры, фрукты, на рыбу — эмбарго, не люблю
ее запах, и чтобы не стоять в семи очередях, и почему бы у входа еще
одной красивой девчонке не торговать цветами? На почетном ме-
сте — отдел с напитками: все соки вплоть до морковного, не надо «фан-
ты», она раздевает изнутри, достаточно с нас кислотных дождей снару-
жи, всевозможные квасы и какой-нибудь компот.

Нервно зевнув, я подошел к прилавку и попросил стаканчик мине-
ральной воды. Это — продавец? Извините. Я бы держал только опрят-
ных. Все при галстуках... ослепительно голубые халаты, прохлада, отку-
да-то доносится приятная музыка. Откуда? Ах, из кафетерия, тут ведь
у меня кафетерий на пять столиков, и всех успевают обслужить, тут
у меня самый расторопный парень, улыбчивый, как кандидат в прези-
денты.

Попросил неряху:

— Дайте мне стакан нарзану.

Он посмотрел на меня с неудовольствием, отчасти даже враждебно:

— Берите всю бутылку.

— Зачем мне всю? Я стакан хочу.

— Что останется, можете вылить под дерево. Дело ваше.

И он стал чесать нос. Я бы их отучил. Захотел что-нибудь поче-
сать — зайди в подсобку и чеши.

— Ладно, давай бутылку. Почему вы их никогда не протираете?
Пробочка ржавая. А где этикетка? Это нарзан?

Продавец внятно зашипел.

Я выпил полбутылки, остальное вылил под дерево. Подошел мили-
ционер, поставил ноги на ширину плеч, спросил строго:

— Гражданин, почему безобразничаете?

Был бы я у них главным, объяснил бы сотрудникам, кто в основном
безобразничает и от кого нужно кого защищать.

— Да это нарзан, — сказал я спертым законопослушным голо-
сом. — Вполне полезная для живых организмов вода, вроде комплексно-
го удобрения.

— Может, нарзан, гражданин, а может, ацетон.

— Так ведь я же пил. Я вон половину выпил. Откуда ацетон?

— Это значения не играет. Сейчас люди пошли ненадежные, — он
вольнo махнул рукою окрест, — вроде мутантов. Мыло ДДТ едят, дихло-
фосом запивают и даже испытывают приятные ощущения. А то вон еще
придумали: макушку выбривают себе, компресс кладут ацетоновый, — он
покошил на пустую бутылку в моей руке, — и балдеют. А дерево — жи-
вая природа. В момент листья сбросит.

— Какой-то у нас разговор пошел странный, — заметил я. — Вы



же видите, перед вами стоит приличный человек, сотрудник государственного учреждения.

Милиционер оторвал взгляд от тополя и обратил его вниз, на мои запыленные ноги, после чего удовлетворенно улыбнулся, и потребовал документы, и оштрафовал за поправление общественного порядка необутыми ступнями.

Расплатившись, я увидел, что приближается автобус с уже знакомым мне веселым шофером. Разглядев меня в зеркальце заднего вида, он снова упал на руль, но я успел впрыгнуть на подножку. Двери, заголосив, рванулись навстречу друг другу, как два вепря в пору брачных дуэлей, но в последнюю секунду сжалились над моей утлой плотью и милосердно сдавили на спине пиджак. Я рванулся, пиджак тихо ахнул, распахнувшись по шву. Спасибо вам, двери! Молчи, пиджак! Но что за шоферов делают?

Скорбя, я проехал одну остановку.

— Гражданин, ваш билет? — пропел кто-то над самым ухом.

Я вытащил пятак:

— Пardon, забылся.

— Уберите ваши деньги. У нас бескассовое обслуживание.

— Ну, продайте один талончик.

Перст контролера вознесся к трафаретной надписи на стене салона: «Безбилетным считается пассажир, если до следующей после посадки остановки...»

— Чушь какая, — сказал я. — Надо не «если», а «который».

— Деловой, — вынесла мне приговор расположившаяся поблизости старуха, вероятно, из лимитчиц.

— Жила, — мелодичным баритоном провозгласила какая-то голенастая старшеклассница.

Еще младенец, а уже такая карга.

Я пошел пятнами и протянул контролеру три рубля.

Половина автобуса оживленно загудела, обсуждая мои низкие моральные стандарты. Вторая половина была безучастна.

Я выскочил из автобуса, забыв захватить портфель с прахом ботинок.

Вот я всем верю. Всему верю. Пусть подойдет ко мне человек, скажет: «Я — баобаб». Я брошусь к нему на шею, расцелую, крикну: «Да, ты баобаб, хороший ты мой, корявый и изогнутый!» Ему станет хорошо, как в детстве, и мне будет приятно. Я добрый, безотказный и знаю, как правильно жить. Но теперь все пропало, меня завели, я несусь, как бубонная чума, и на всякого, кто подвернется, я...

Тетка перегородила мне дорогу, поставила мне на ногу, не глядя, тяжелый рюкзак:

— Сынок, где тут ГУМ?

Я ору:

— Да что вы все сюда тащитесь? Сидели бы дома, работали, свой ГУМ уже давно имели бы! А ну, турманом на Курский!

— У нас в Петюхах купальники не завозят,— шмыгает тетка носом.

— Кыш!

Я несусь неудержимо, и за спиною бьют колокола, это в мою честь горят факелы и длинные шеренги мортусов салютуют мне коваными железными крючьями.

САМОУБИЙСТВО

Утром Лимонов проснулся в хорошем настроении, удивился, раскинул по кровати руки и ноги и принялся прислушиваться к процессам, тайно происходящим в организме. Однако ничего не услышал, зато вдруг вспомнил, что жена его Ленусик укатила к родственникам в Егорьевск. Наказывала по вечерам быть дома, приятелей не водить, купить новую крышку для унитаза, положить с полочки пятьдесят рублей на сберкнижку и не забывать, что и на большом расстоянии она все сечет.

Выгнать за эти, как и за другие нахальные речи жену из дома Лимонов не мог. Квартира не принадлежала ему, в свое время ее построили родители Ленусика, о чем было написано особой вязью на латунной табличке у двери. И хоть внутри у него все кипело и уже готов был повалить пар изо рта, Лимонов только качал головой как болван и бормотал: «Все сделаю, Ленок, ты не думай...»

Зато теперь жена была далеко, и он мог потихоньку бесчинствовать. С этой мыслью Лимонов шустро соскочил с кровати, встал подбоченясь у окна и громко сказал: «Ж...!» Хотелось попроказничать; но тут из-под кровати на свет божий вылез любимец жены карликовый пинчер Гавриил и зарычал как сумасшедший.

— Ну, морда, держись! — Лимонов сгреб Гавриила за шиворот, хо-рошенько встряхнул и водрузил на Ленускин туалетный столик. — Пришла пора, гаденыш, держать тебе ответ за все паскудства.

Трусливый Гавриил закрутился на столике и сбросил на пол флакон «Мажи нуар». Лимонов попытался схватить пса, но потерял равновесие и смахнул вниз массу мелких, чрезвычайно ценных вещей жены. Он увидел, что Гавриил, распластав ноги, как цыпленок-табака, забивается в щель под шкафом, куда поостерегся бы лезть и таракан.

На завтрак Лимонову полагались растворимый кофе и сосиска, оставленная любящим Ленусиком. Правда, кофе не пожелал растворяться и принялся кружить в чашке, превратившись в веселые верткие комочки. Лимонов пытался давить их ложкой, но скоро утомился и, злобно схватив сосиску, вспорол острым ножом ее жалкий, болезненно-голубоватый бок. Издав предсмертный стои, сосиска развалилась на три части. Первую Лимонов сдуру съел, вторую удрученно понюхал, а третью бросил, тоскуя, в унитаз.

Тут из часов на стене вылезла штука, стало ясно, что времени не осталось, пора на службу. Лимонов вышел во двор, но не успел сделать и нескольких шагов, как — плюх! — что-то пролетело рядом с его лицом и шлепнулось у самых ног. Оторопевший Лимонов опасливо опустил голову, чтобы изучить упавший предмет, и увидел на земле очень большую рыбу. Он протянул было руку, чтобы дотронуться до ее чешуйчатой спинки, но, вздрогнув, тут же отступил. Рыба вытаращила глаз и несколько раз раскрыла пасть, страдая от предсмертных мук. Лимонов огляделся, выискивая, кого бы позвать на помощь.

— Эй! — крикнул он дворнику, размахивавшему неподалеку новой метлой. Дворник был молод и статью напоминал Арнольда Шварценеггера. На широкой груди его вместо старозаветной бляхи красовался значок с надписью «Дукакиса в президенты!». Дворник приблизился, всем своим видом выражая крайнее возмущение.

— В такой-то день! — сказал он мрачно. — И что не живется вам? Вчера один тоже хряпнулся, ханыга...

— Помогите мне поддержать его голову, — торопливо произнес Лимонов. — И позовите врача, ради бога.

— В такой-то день, — тупо повторил дворник.

Рыба молча лежала на сером сверкающем асфальте. Она вытянулась, черты ее обострились, и во всем облике теперь были какая-то значительность и благородство, незаметные при жизни.

— С восьмого этажа, оно, конечно... — начал ругаться дворник. — Только со шлангом управишься, все приберешь — и сразу начинают... Третьего дня одна тоже захотела — с третьего этажа, да я заметил — шуганул.

— Что, вы хотите сказать, еще одна рыба? — пробормотал Лимонов, чувствуя, что реальный мир распадается и кружится миллионами осколков.

— Не рыба, баба, — ответил дворник. — Да по мне едино: падают и мусорят.

Он злобно ткнул мягкое беззащитное тело метлой.

— Глупый был, а может, с похмелья. Башка-то вон почти оторвалась. Сколько раз я на собрании говорил, что надо приглядывать, кто чем у себя в кухне по вечерам занимается. Чтоб комиссия...

Дворник замолчал и поправил значок. Потом насупился и велел Лимонову:

— А ты ступай себе. Сам управлюсь, не впервой.

— Но, — воскликнул Лимонов, — как же так? Вы не можете один. Нужно позвонить, за ним придут. Я просто уверен, что понадобится как свидетель.

— Человечишко ты вроде неплохой, — тихо сказал дворник. — Сяой будто человечишко, винтик малый. А потому скажу тебе по секрету: дело это непростое, и органы уже взяли тебя на заметку.

— Органы? — пискнул Лимонов. — Да ведь я просто шел мимо...

— А вот возьмутся проверять — откуда да куда... Установят, что была между вами связь или что похуже!

Лимонов в ужасе отступил на три шага.

— Ступайте,— произнес вдруг дворник совсем другим тоном.— Или вы не видите, что ему уж никто теперь не нужен? Ступайте! Я сам стану ему свидетелем, следователем и судьей, сам предам земле его бранные останки.

Лимонов бросился прочь. Перед его мысленным взором неотступно стояла картина гибели незнакомой рыбы. Ее глаза! Еще вчера, должно быть, светившиеся невыразимой добротой, они теперь хранили лишь застывшее страдание и муку. Лимонов знал, что никогда не сможет избавиться от страшного видения. «Ленусику не буду рассказывать ни в коем случае,— подумал он.— При ее впечатлительности — да она сойдет с ума!»

Возвращаясь вечером домой, Лимонов вспомнил о существовании Гавриила, оставленного утром под шкафом без пищи и питья. К его удивлению, зловерное животное до сих пор не покинуло своего убежища. Лимонов лег на пол и заглянул в щель. Он увидел два кроваво-красных огонька; тут лютый карлик сделал выпад и зарычал так страшно, что Лимонов моментально побежал на кухню, принес оттуда и закинул под шкаф ромштекс, купленный на ужин в ближайшей кулинару.

— Падла,— сказал он мрачно и пнул шкаф ногой.

Надо сказать, что днем у себя в конторе он немного отвлекся от утреннего происшествия. На обратном пути ему не встретилось ничего необычного; дворник куда-то исчез. И вот поздно вечером, сидя с кроссвордом у телевизора, Лимонов задался вопросом: уж не было ли это зрительной, слуховой, обонятельной, тактильной и висцеральной галлюцинацией?

— Нервы ни к черту! — подвел он малоутешительный итог и резким движением освободился от мягких объятий кресла. Постоял в пинаже у открытого окна, тупо глядя вниз на тусклый одинокий фонарь, в свете которого справляла свой недолгий бал мелкая летучая нечисть. Обошел квартиру, включил свет в ванной и принялся изучать свое отражение в увеличительном зеркальце Ленусика. Гнусное стекло с обычной жесткостью явило Лимонову горестную правду.

— Очень нездоровый вид, Сергей Сергееч,— пробормотал он, увидев крупные поры собственного носа, и засунул зеркальце подальше. Потом потоптался на месте и зачем-то тщательно натер лицо лосьоном жены; снова побрел в комнату, распространяя жуткий приторный запах, от которого Гавриил в своем убежище зашелся бульканьем и кашлем.

Лимонов тем временем прикинул ухом к стене и затаил дыхание, стараясь уловить шумы жизни из соседней квартиры, где проживала молодая одинокая Катенька, запросто сменившая на глазах Сергея Сергеевича трех мужей. Лимонов тайно питал к Катеньке нежные чувства,

видел ее редко и в момент встречи, смущаясь, всегда говорил глупости. Ленусику соседка не нравилась; тем не менее жена то и дело обращалась к ней с пустяками, одалживая то спички, то соль, то другую мелочь. Тогда Лимонов слышал за дверью щебетание женщин и думал: «Какая все-таки Ленусик змея!»

Ему пришла в голову заманчивая мысль: запросто, по-соседски позвонить в ту, другую квартиру и попросить перец или мыло, а потом, словно невзначай, пригласить Катеньку взглянуть на коллекцию спичечных коробков, которые хранились в чемодане под кроватью. Мысленно составляя сети для обольстительной соседки, Лимонов отклеился от стены и направился на кухню, где необходимо было отыскать одну вещь, без которой совершенно не представлялось возможным воплотить в жизнь полный коварства замысел. Он открывал ящики один за другим, натываясь на Ленуськины запасы круп, сухих фруктов и грибов, трав и соцветий. Потревоженное ночным вторжением население ящиков всполошилось. К своему удивлению, Лимонов обнаружил, что в ящиках шла своя таинственная жизнь: сучил ножками упавший на спину таракан, бродили крошечные жуки, а из пакета с орехами вдруг выпорхнула моль. Наконец в нижнем ящике, в самом дальнем углу, за соковыжималкой, Сергей Сергеевич нащупал округлый бок и сжал в кулаке тонкую шею коньячной бутылки. Он уже лежал на полу, с рукой, погруженной в недра ящика, и чувствовал телом прохладу линолеума. Потом нетерпеливо поднялся, открыл бутылку, сделал глоток и еще постоял посреди кухни, набираясь мужества и сопя.

Неожиданный звонок в дверь застал Лимонова врасплох, и он заметался — сначала спрятал бутылку в холодильник, потом снова схватил и помчался в коридор, одной рукой подтягивая сползающие пижамные штаны.

— Неужели сама пришла, хорошая моя, — подумал он и крикнул: — Одну минуточку, я сейчас, сейчас...

Гавриил тоже засуетился; он припал к двери, с шумом втягивая носом воздух и с бешеной скоростью виляя тощим задом, украшенным обрубком хвоста.

— Подожди, собаченька, дай я открою, — пропел Лимонов и щелкнул замком. Сразу обнаружилось, что перед ним не желанная Катенька, а какая-то совершенно незнакомая дама. Облаченная в темные одежды, она стояла, низко опустив голову, так что широкие поля черной шляпы скрывали ее лицо.

— Здравствуйте, милый Сергей Сергеевич, — сказала дама низким, приятным голосом. — Можно к вам?

Не дожидаясь ответа, она плавно проскользнула мимо хозяина; дверь с тяжелым вздохом захлопнулась, чуть не расплющив бедного Гавриила. Тот зашелся было нервным лаем, но, втянув еще раз воздух, вдруг сник, глянул вослед гостье тоскливо и непонимающе и поплелся прочь.

— Чудесно, что застала вас дома, — продолжала дама. Освободив-



шись от плаща, она бросила его на стул, потом сняла шляпу и, повернувшись к Лимонову, небрежно произнесла:

— Вижу, вижу, милый Сергей Сергеевич, что вы не признали соседку...

Потрясенный Лимонов попятился, делая мелкие шажки, пока не стукнулся затылком о декоративный канделябр на стене. Его лицо искажилось, речь отнялась:

— Ээ-у-у-ии,— произнес он, в ужасе глядя на огромную рыбью голову, венчавшую туловище дамы. Та усмехнулась. При виде ощеренной мелкозубой пасти Лимонов на какое-то время потерял сознание. Когда он снова открыл глаза, дама нервно ходила по комнате.

— Ну хватит, будьте же мужчиной,— сказала гостя с некоторым раздражением.— Мы ведь живем с вами в одном доме уже много лет. Я из четырехста тридцать седьмой. А зовут меня Вера Петровна.

Она подошла к Лимонову и с силой встряхнула его обмякшее безвольное тело.

— Нельзя распускаться. Я к вам по делу.

— Слушаю, будет исполнено,— вырвалось у Лимонова. Он скосил глаза и обнаружил у себя в руке бутылку коньяку.

Гостя же, чувствуя себя в чужой квартире, видимо, вполне свободно, расположилась в кресле у журнального столика, закинув ногу на ногу, и принялась листать принадлежавший Ленусику каталог какой-то западногерманской фирмы.

— Хорошо у них умеют рекламировать товары,— заметила она задумчиво.

— И очень большое разнообразие нужных вещей,— поддакнул Лимонов и тяпнул из горлышка.

— Фу ты,— сказала Вера Петровна.— Угостите женщину.

Стараясь не смотреть на ее зубищи, Сергей Сергеевич передвинул бутылку на край стола.

— Рюмочку дайте,— засмеялась гостя.— А вы трусишка, оказывает-ся.

Лимонов полез в шкаф, извлек рюмки и коробку конфет «Подмоховные вечера».

— Ой, какие у вас сладости! Речка движется и не движется...— запела Вера Петровна не лишенным музыкальности голосом.

Лимонов плюхнулся в кресло, судорожно соображая, как полагается говорить — «кому обязан» или «чем».

Лязгнув зубами, гостя проглотила конфету и посмотрела на Лимонова своими выпученными водянистыми глазами.

— Случайно я узнала, что вы — единственный свидетель гибели моего зятя. Это правда?

— Ээ-у-а,— дернулся в кресле Сергей Сергеевич.— Шел я утром, видел, как рыба выпала из окна. Здоровая была,— выдавил он.

— Да, это он, наш дорогой мальчик.

— Как звать?

— Витечка, — сказала дама. — Очень хороший мальчик.

— Сколько лет?

— Тридцать пять сравнялось.

Помолчали, выпили. Лимонову начинало казаться, что язык у него во рту стал мягким, раздался вширь и в значительной степени утратил подвижность. Следующий вопрос прозвучал поэтому несколько невнятно:

— Чего от меня надо?

— Расскажите подробности, — попросила Вера Петровна и слопала еще конфету. — Когда я вернулась с работы, все было кончено.

— А вы что же... работаете? — очумело проговорил Лимонов.

— А как же? Кто теперь может себе позволить сидеть дома? Служу в валютно-финансовом управлении МИДа, у меня стаж. Лимончика не найдется?

— Не имеем мы лимонов. Жена на удовольствиях экономит, — пожаловался Сергей Сергеевич. — А вы что же, просто так ходите на работу? И в трамвае ездите?

— И в трамвае, — спокойно подтвердила гостья. — Может быть, вам моя внешность кажется неприятной?

— Очень кажется, — выпалил Лимонов. — Эта внешность у вас мне во как! — И он показал большой палец, но почему-то опустил его вниз, будто патриций во время поединка гладиаторов. — Необычно, весьма! Раз увидишь, не забудешь такую... внешность! Там был со мною дворник, обещал зарыть. Он у нас тут все зарывает. Что лишнее найдет, так сразу и зарывает.

— Я всюду бываю, — сказала Вера Петровна. — Что ж! Хоть и есть кое-какие различия... Друг на друга ведь у нас не очень-то смотрят, так... А дворник, между прочим, исчез. Он подозрительный тип.

— Он Витьку твоего закопал, а я на работу пошел. У меня шеф... Му... Чудило! Он мне командировку в Турцию зарезал и премию дал — десять рублей. А, Вер? Куда мне эту десятку засунуть, чтоб почувствовать? Жена мне велела крышку купить для унитаза. Вот ты — сразу вижу, добрая женщина. Лимоны покупаешь? Про дворника понимаешь! Он говорит, сволочь, я, мол, сам этого Витьку закопаю. Зарою я его! Вот какие дела творятся, дорогая ты моя Вера... — Лимонов всхлипнул и налил в рюмки еще коньяку.

— Он умер сразу? — спросила гостья с мукой в голосе.

— Тут точно скажу, что сразу. Не горюй. Как шмякнулся, так больше ни минуточки не пожил. Губищами он шевелил, пасть растопыривал — не буду тебе врать. А через некоторое время все, говорит, до свиданья, умираю. А потом этот гад, дворник. Слушай, а вы что, тут прописаны всей семьей?

— Ох, вы никак понять не можете, — сказала Вера Петровна устало. — Я вам сейчас объясню.

Лимонов перебил ее:

— Слушай, мать, а может, ты голодная? Ленка моя уехала, так что в холодильнике, скажу тебе честно, ни шиша. Но в морозилке — треска. И можем у Катерины взять майонез. Во, точно! Я все думал, чего бы у нее взять? Мыло — не мыло. Вер, а может, я ее тоже приглашу? Я вам это... спички под кроватью буду показывать, хочешь? Значит, вы тут прописались, лимоны едите, треску тоже. Не имеешь права есть треску! — грохнул он кулаком по столу. — Она же брат твой! Эх!

— Да вы пьяны! — сказала Вера Петровна с отвращением. — Прекратите, а то я уйду.

— Скажи пожалуйста! Да ладно, Вер, не сердись. А чего Витек в окно полез? Плохо с ним обходились, а? — И он погрозил пальцем. Вера Петровна пригорюнилась.

— Молчать не мог, а говорить не умел, — объяснила она несколько туманно.

— Это не повод, — веско сказал Лимонов. — Христос терпел и нам велел. Жизнь — борьба!

— Не нужно лозунгов, — брезгливо оборвала его Вера Петровна.

— Ладно, — обозлился Лимонов. — Не хотите, как хотите. А человека-то нет! Или рыбой Витька-то был? Так ведь все равно жалко! А вы сидите, конфеты лопаете. Я таких жестоких сроду не видал! Дворник, чужой человек, и тот понимание проявил. А ты же теща! Теща, а не убиваешься! Вижу, что совсем не убиваешься. Осуждаю. — Лимонов нахмурился, схватил конфеты и убрал их обратно в сервант.

— У меня кровь холодная, — грустно призналась Вера Петровна. — Я не умею убиваться и сострадать. В нашей семье это не принято.

— Видал я такие семьи! Противно мне, сейчас буду рвать с вами всяческие отношения. И Ленусик откажет от дома! — предупредил Лимонов и зевнул. — Но Витька ваш, он все-таки кто был?

— Мне кажется, он начинал превращаться в человека, — тихо проговорила Вера Петровна. — А это, говорят, очень больно.

— А вы бы что, не хотели? — недоуменно спросил Лимонов.

— Нет, что вы? — испуганно сказала Вера Петровна. — Боже сохрани! Я дорожу покоем. К тому же, как вы заметили, ничто человеческое мне в принципе не чуждо.

Они помолчали. Лимонов внезапно ощутил приступ неясной тоски.

— Бедные вы, бедные, — пробормотал он.

— Бедные? Ну, нет! — не согласилась Вера Петровна. — Мы куда счастливее, чем люди. Вы это еще поймете.

Она поднялась.

— Мне пора. Как-нибудь увидимся, поговорим еще, правда?

Щелкнул замок, дверь захлопнулась, Лимонов остался один. Он вдруг почувствовал, как в голову вползает, копошится, стараясь устроиться поудобнее, тупая боль. Спать, что ли, лечь? Ночь уже.

Он подошел к окну и отдернул занавеску. Вопреки его ожиданиям и естественному ходу времени ночи за окном не было. Город был залит

ровным красноватым сумеречным светом. Приглядевшись, Лимонов увидел, что улицы полны движения и жизни. Не вполне отдавая себе отчет в своих действиях, он надел ботинки, куртку и спустился вниз.

— Надо было Гавриила взять, выгулять паскуду, — подумал Лимонов с явным опозданием, выходя из подъезда.

Из-за угла дома вынырнул давешний дворник и, увидев Лимонова, остановился как вкопанный.

— Вот... не спится, — пояснил Лимонов, будто оправдываясь. — Дай, думаю, похожу, проветрюсь.

— Возвращайтесь-ка лучше домой, Сергей Сергеевич, — тихо проговорил дворник. — Хотя... я вам не советчик. Что, заходила?

— Заходила.

— И что?

— Да ничего. Посидели, выпили. Поговорили.

Дворник кивнул, поглядел на Лимонова долгим взглядом. Тот пожал плечами, буркнул: «Ну, ладно» — и пошел в направлении проспекта. Пройдя метров тридцать, оглянулся. Дворник, вынув из кармана клетчатый платок, махал ему вслед.

Лимонов три квартала, Лимонов вышел на проспект. Тут былолюдно. Прохожие шли быстрым, деловитым шагом, словно бы торопясь на службу или по другим неотложным делам. Некоторые несли портфели, иные — кошельки со снедью. Навстречу Лимонову попался плотный, коренастый мужчина с авоськой, из которой торчали зеленые кукиши огурцов.

Лимонов взгляделся в его лицо — и остолбенел. На толстой, короткойшее прохожего сидела огромная башка, поросшая жестким густым волосом; уши стояли торчком; маленькие глазки смотрели тупо и недобро. Клиновидная физиономия была украшена огромным плоским носом, а изо рта гражданина вверх и в стороны торчали мощные желтые клыки. Могучая шерстистая грудь распирала мятую рубашу с расстегнутым воротом.

Лимонов вмиг покрылся холодным, липким потом.

— Что же это, а? — прошептал он, привалившись к шершавой стене мрачного серого дома.

По проспекту почти бесшумно неслись машины. Лимонову почудилось, что за стеклом большого черного автомобиля мелькнула вроде бы мерзкая рожа павиана.

А люди все шли, шли, шли, обгоняя и задевая друг друга. В неутомимой их поступи, в шарканье подошв по асфальту ощущался четкий, заданный ритм, установленный кем-то безжалостным раз и навсегда.

Прохожие несли свои лица сквозь сумеречный свет, мало обращая внимания друг на друга и, похоже, не замечая, что там и сям в толпе то вспыхивал зеленый волчий взгляд, то зависал в воздухе протяжный взгляд удава, то мигали кроткие, пустые глаза овцы.

Сползая по стене, Лимонов упал на колени.

— Потеряли...— бормотал он.— Облик потеряли...

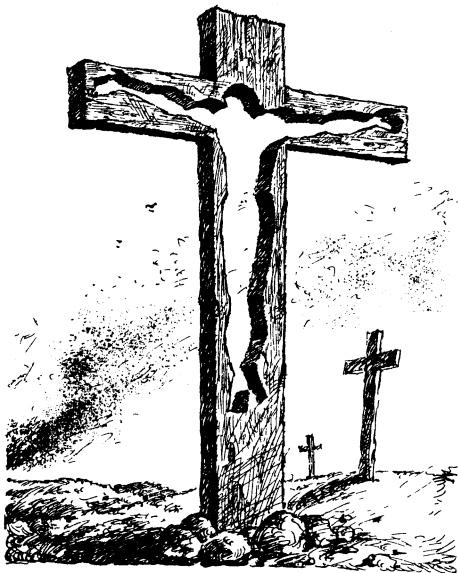
И, обратив взор к низкому небу, он с лютой тоской прошептал:

— Господи... господа... а я-то кто же?

Громовой голос раздался из поднебесья, расколов воздух и качнув горизонт:

— А ты, Лимонов, козел!

Упав навзничь, он затряс длинной седой бородою, тонко закричал, и крик его унесся к вспыхнувшей над крышами хрустальной звезде.



СОДЕРЖАНИЕ

Из походов Кутякина, эскавйра	2
Зачем пришел?	7
Без лирики	10
Детский вопрос	13
Фейн и Павлик	17
Амба	26
Сто голландских тюльпанов	30
Чума	34
Самоубийство	38

**ФЛОРЕНТЬЕВА Елена Игоревна,
ФЛОРЕНТЬЕВ Леонид Леонидович**

СТО ГОЛЛАНДСКИХ ТЮЛЬПАНОВ

**Редактор М. Г. К а з о в с к и й
Техн. редактор Л. И. К у р л ы к о в а**

Сдано в набор 30.08.89. Подписано к печати 01.11.89.
А 00399. Формат 70 × 108 1/2. Бумага типографская № 2.
Гарнитура «Гарамонд». Офсетная печать. Усл. печ. л. 2,10.
Усл. кр.-отт. 2,45. Уч.-изд. л. 3,22. Тираж 75000.
Заказ № 1164. Цена 20 коп.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции
типография имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда».
125865, ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.

©Издательство ЦК КПСС «Правда» Библиотека Крокодила, 1989.

Книжка, которую вы прочитали, — последнее звено в той цепи, которая соединила двух соавторов. Документ, подтверждающий наличие пылкого и чувственного творческого союза.

В семейном архиве этот документ займет свое место наряду с другими, также образующими звенья указанной цепи: свидетельством о браке, например, и о рождении сына, и двумя дипломами, выданными факультетом журналистики Института международных отношений, и техническим паспортом на пишущую машинку...

Рассказы мы пишем в свободное от исполнения гражданского долга время, формируя с означенной машинкой банальный треугольник. Надеемся, читатель получил удовольствие от них; если же этого не произошло, утешением нам послужит то удовлетворение, которое мы испытали сами от творческой близости.

30

ISSN 0132-2141. Б-ка Крокодила. 1989. № 24. 1—48.



20 коп.

Индекс 72996

ISSN 0132-2141



№ 24

Е. и Л. ФЛОРЕНТЬЕВЫ СТО ГОЛЛАНДСКИХ ТЮЛЬПАНОВ

ISSN 0132-2141. Б-ка Крокодила. 1989. № 24. 1—48.

